

Владимир КУДРЯВЦЕВ

Слово о современниках (старшее поколение)

Главы из книги

АЛЕКСАНДР ЯШИН: «Я ОБРЕЧЕН НА ПОДВИГ...»

*Пути поэзии трудны,
И все ж мы за неё в ответе -
Кому-то и стихи нужны,
И я не зря живу на свете...*

А. Яшин, 1959 г.

Прежде чем писать об Александре Яшине, я заново перечитал его стихи, прозу, публицистику и дневники. Познакомился с книгами, написанными о творчестве писателя-земляка. Погрузился в воспоминания о нём. Встретился и поговорил с людьми, знавшими его лично.

Перечитал, погрузился, поговорил и понял, какой же трудной была его судьба при жизни и какая она у него счастливая после смерти. Говорю так и вспоминая слова Вениамина Александровича Каверина:

«Как важна не только судьба самого писателя, но и судьба памяти о писателе! Я прожил большую литературную жизнь, и перед моими глазами прошли десятки примеров взлётов и падений блестящих, на первый взгляд, литературных карьер. Казалось бы, такая была шумная известность, а после того как человек уходил из жизни, память о нём быстро исчезала, и о нём все забывали.

Чем же объясняется такая благодарность и память? Откуда в судьбе самой памяти такой надолго упрочившийся взлет? Здесь дело в том, что Яшин оставил после своей жизни то, что можно назвать «памятью сердца», а между жизнью и творчеством у Яшина разрыва не было...»

Примечательно, что эти слова записала на магнитофонную ленту вологжанка Валентина Станиславовна Старкова еще в октябре 1977 года, когда она вместе с сыном поэта Мишей приехала к Каверину в Переделкино. Это не единственный адрес, по которому она выезжала, но к другим адресам мы вернёмся чуть позже.

Перечитываю их еще раз и думаю, что в юбилейный для Яшина год, может быть, именно это и есть самое важное и самое главное в судьбе писателя-земляка - счастливая и памятная в новых поколениях жизнь после смерти. Жизнь в слове, искреннем и выстраданном, которое и ныне находит живой отклик в сердцах людей, ради которых он жил и писал.

Он писал и верил в свой народ, отзывчивый на правду и памятный на добро, верил, что с его творческим наследием так и будет, иначе бы однажды не сказал своей сестре Александре Антипьевне:

«Погоди, Саня, будут к тебе сюда люди приезжать - сюда, на Бобришный угор, - со всего Союза, будет здесь музей, а ты будешь всё обо мне рассказывать...»

Так и случилось.

Александр Яковлевич умер в 1968 году, а через семь лет в Вологде (профессиональное училище № 30) уже появился литературный кружок под названием «Яшинская рябинка». За 33 года через него прошло более тысячи юных вологжан. Для многих из них слово поэта стало мерилом правды и совести, любви и веры, жизни и судьбы.

Январь 2008 года. Мы гуляем с Валентиной Станиславовной, бессменным руководителем кружка, а позже клуба, по улицам Вологды. Она, вспоминая прошедшие годы, размышляет на тему памяти:



Александр ЯШИН

«А ведь правда, жизнь после смерти поэта - это его первые шаги в бессмертие. И нет, наверно, писателя, который бы об этом не думал. С них-то и начинается судьба памяти. А у каждой памяти тоже своя судьба. Что помнят потомки? Что им дорого в его творчестве? Что осталось бесценным и непреходящим? Что составляет время, а что отсеивает...

Мы с учениками собираем материалы о Яшине - рукописи и книги, дневники и фотографии, воспоминания и письма, вещи и автографы...

Но не только собираем, но и сами в разных жанрах записываем свои впечатления от встреч и поездок - в стихах и путевых заметках, в эссе и в дневниках. И, конечно, размышляем над ними. Уже и наши записи, не побоюсь сказать, сами обретают историческую ценность. Ведь в них, согласитесь, кроются мучительные духовные поиски юных земляков поэта.

Есть в них и свои ответы на некоторые не простые вопросы...»

Я слышал, с каких слов поэта Валентина Станиславовна начинает уроки памяти, посвящённые Александру Яшину.

«...удивительное, окрыляющее душу чувство любви к родной земле, страстное желание ей добра, силы, изобилия порой захватывают меня всего. Хочу всем и каждому из нас счастья. И еще хочу, чтобы ощущение радости и какого-то полёта души было доступно каждому человеку, чтобы каждый хоть раз в своей жизни испытал это благородное слияние всего себя с Родиной и уже никогда не забывал бы этого животворящего, очистительного, святого чувства».

Искренность этих слов подтверждена всей его жизнью. И надо ли говорить, что через такие вот слова Яшина кружковцы быстрее обретают чувство Родины и любви к ней. Особенно тогда, когда в памяти их живы и воспоминания о людях, с которыми они встретились и познакомились на жизненных тропинках Александра Яшина. Адреса же памяти им с самого начала подсказала вдова поэта Злата Константиновна.

Я сам знаком со многими её учениками и не понаслышке знаю, какой след оставили в их жизни встречи с современниками и друзьями поэта-фронтовика. Да и можно ли их забыть?

Ноябрь 1977 года. Квартира Всеволода Борисовича Азарова в Ленинграде. Его рассказ ребята записали на магнитофон, а потом, расшифровав, поместили в альбом «Яшин и война», в который кружковцы собирали материалы о военном периоде жизни поэта.

А вот как сам Всеволод Борисович вспоминал об этой памятной для него и для них встрече:

«В «Ленинградской поэме» через знакомую Яшину девушку он рассказывает о семье рабочего Рожавина, в чьей судьбе поэт принимал большое участие. Я позабыл, а Яшин нет, как я отдал лежавший в противогазной сумке кубик гречневого концентрата.

Спустя много лет я получил от этой семьи по почте небольшую шкатулку, в которой лежал не тот, но похожий на него кубик. Для чего я рассказал об этом ребятам из «Яшинской рябинки»? Вероятно, для того, чтобы они представляли, хотя бы частично, условия, в которых жил, создавал стихи, радовался и страдал человек, чьё имя они произносят каждодневно...»

А вот ещё один памятный для ребят адрес.

Май 1976 года. Позади Москва, ЦДЛ, электричка, боровые тропки с пружинистой хвойной подстилкой. И вот они уже в усадьбе Дунино и обходят её по тропам Пришвина. Пихты. Река и зелёные дали за ней. Поляна, заросшая травой. Новая скамейка, две ели, самодельное кресло из пня, за которым любил, уединившись, работать писатель, молодые дубки, выращенные из желудей, - их Пришвин привез из Михайловского и Ясной Поляны.

А потом рассказ Валерии Дмитриевны Пришвиной о дружбе двух писателей - певцов природы своего края - Яшина и Пришвина. Их объединяла не только неистовая любовь к жизни во всех её проявлениях и природе, но и шофёрские дела - однажды они даже соревновались на своих машинах.

- Я помню, - рассказывает Валентина Станиславовна, - как слушали Валерию Дмитриевну мои ребята - для них и для меня это была необычная встреча с удивительной женщиной и с жизнью её дома и усадьбы. Встреча с миром, вроде бы и утраченным нами, но именно с тем миром, который мы пытались тогда найти и обрести в самих себе и по которому искренне тосковали - каждый по-своему...

Мне нравится, призналась тогда Валерия Дмитриевна, цикл из книги Яшина «Угощаю рябиной», посвящённый Пришвину. Она вспомнила и слова, какими Яшин его заканчивает:

«И кажется мне, что по одной из этих тропинок, уже не по пришвинской, а по

своей - иду я сам. И, может статься, ещё не поздно, я расскажу людям обо всем, что увижу и услышу на родной стороне...»

И он рассказывал. И так samozабвенно, как мог только он, и так самобытно, что голос его в России был слышен и узнаваем. И так искренне, что не откликнуться на него сердцу русскому было нельзя.

«Он работает до иступления, до слез, - пишет критик Василий Александрович Оботуров, лично знавший поэта, - и верит: «есть и во мне искра Божья, не зря меня кормит народ своим хлебом».

Но ему для «спокойствия и уверенности в себе» и для «полноты счастья» важно еще знать - и это главное:

*Но плачет ли кто-нибудь
Над моими книгами?
Счастлив ли я?..*

Он верит, искренне верит, «что его понимают, что его работа крайне необходима людям». Верит и идет «своей тропинкой на большом пути к человеку-другу...» И на пути этом, тернистом и ухабистом, обретая врагов и друзей-единомышленников, Александр Яшин со свойственной ему откровенностью и прямой той признается себе и людям:

«... Трудно моим землякам - и мне трудно. Хорошо у них идут дела - и мне легко живётся и пишется. Меня касается всё, что делается на этой земле, на которой я не одну тропинку босыми пятками выбил. На полях, которые еще плугом пахал. На пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога...»

У многих ребят из «Яшинской рябинки» была в жизни и первая встреча с родиной поэта.

...Мы дошли с Валентиной Станиславовной до улицы Александра Яшина и остановились у дома, в котором жил Николай Рубцов.

Февраль 1975 года. Эта была первая поездка кружковцев в Блудново - на Бобришный угор.

- И она, эта встреча, - оживилась моя собеседница, - явилась для всех нас чудом явления поэта и открытия человека, которого помнят и чтят на его благословенной родине. В Никольске тоже давно создан и активно работает литературный клуб-музей «Земляки». Руководит им Муза Вячеславовна Береснева, такая же неуёмная и щедрая на добро женщина, как Валентина Станиславовна. Я горжусь тем, что с 2006 года являюсь его почётным членом.

После таких встреч, читая его стихи, и ребята, верится, уже глубже понимали и острее чувствовали поэтическую строку Яшина, и каждый из них живо откликался на радостные и болевые движения его обнажённой и чуткой ко всему души.

Его глазами они начинали открывать для себя мир, в котором «подснежников появление, /березовых почек рост/ он сравнивал по значенью/ с рождением новейших звезд...» Они, узнав больше о его жизни, поняли, почему поэт «ничего не хочет уступать/из вверенного наследства...»

Они искренне ему верят, когда он пишет: «...и расплачусь за счастье / по самому крупному счету...» Они уже знают, зачем поэт хочет «обрести птичье зреньё, / недоступное людям...» и как сладостно «в шорохи трав и в шумы вершин / вслушаться не дыша...», и почему поэту «просто необходимо / босым по земле ходить...»

Они, наконец, слыша напряженье оголенных строк, вполне осознают умом и чувствуют сердцем, что

*Счастливым дар
Не на года дается
И не в одолженье,
Не для забав и развлечения,
А навсегда -
Со дня рожденья
Для непрестанного труда...*

А подвиг его - жизненный и литературный - в том и состоит, что он и сегодня заставляет нас жить и ко всему относиться по правде и совести. Только так, сохранив в чистоте свои земные дела и помыслы, может человек оправдать и свое предназначение на земле, посвятив Отечеству и людям свою неповторимую жизнь - дар Божий.

И только в этом случае, по образному и точному определению Василия Александровича Оботурова, написавшего очерк творчества поэта, «и происходит неповторимое, как чудо, приобщение к Отчизне: неповторимое, как чудо, преобразование личности художника: неповторимое, как чудо, явление поэзии истинной и совершенной, которой долго суждено волновать беспокойные души людские...»

МОЙ РУБЦОВ

*Долетают гудки теплохода.
На юру продувает насквозь.
Если б знал ты, как много народу
Нынче в гости к тебе собралось.*

*Не кривлю перед Богом душою.
Может быть, первый раз у берёз
Показалась такую большую
Мне земля, на которой ты рос.*

*Как моя она - с грустью и болью.
И так хочется с каждым двором
За любовь расплатиться любовью.
За добро расплатиться добром...*

Эти стихи я написал после первой встречи с деревней Никола.

Николая Рубцова уже не было, когда я приехал на вологодскую землю, но я знал его и, самое главное, - его чувствовал. Чувствовал по стихам из сборника «Подорожники», который я купил однажды в Костроме на автовокзале.

Тогда я тоже (и не первый блудный сын российской глубинки) возвращался из дальних странствий на свою родину.

И мне, родившемуся на земле костромской, оказались так созвучны по душе стихи, написанные поэтом, жившим на Вологодчине в годы, отпущенные и мне.

Уже тогда он был созвучен мне и по судьбе - судьбе одного из тех, кто шёл вослед, может быть, последнему поколению русских поэтов.

Поэтов моего поколения.

До нас им эти строки были выстраданы, но уже при нас они были им написаны. Строки, в которых ещё раз явила себя миру таинственная душа уже через русского детдомовца.

В них свет души. В них и её боль, на которую мы по судьбе своей обречены. Особенно - поэтической.

И этот свет, и эта боль были, есть и будут во всех поколениях русских людей. Это Судьба...

*С каждой избою и тучею.
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую.
Самую смертную связь...*

И связь эта была у него до боли светлая.

И мучительная была - до очищения.

Такой остается она и в нас, слава Богу, ныне ещё живущих.

Я, как и он, жил и радовался тому, что на моей земле и на моих глазах разумно созидалось, и так же горько переживал за то, что на земле моей бездумно и на моих же глазах преступно разрушалось.

И не столько временем, сколько людьми и временами, выпавшими на долю.

А это была и его доля, и доля наша.

Его стихи выстраданы на этой северной земле.

Они являлись ему в образах, как иконы чудотворные являются человеку с искренним сердцем и верой в душе.

Потому и стихи, написанные им, врачуют нас и сегодня, как подорожники. Подорожники, бережно собранные поэтом на людных прежде деревенских околицах и крутых речных берегах, в девственных пойменных лугах и знобких сквозных перелесках, на мирных завалинках крепких изб и петляющих, но верных по жизни, полевых тропках.

С тех пор, когда он последний раз ходил по этой земле, минуло уже тридцать четыре года...

За это время одна эпоха сменила другую. Век двадцатый уступил место веку новому, начавшему отсчёт третьего тысячелетия.

Не изменилась только природа, вдохновлявшая поэта тогда и вдохновляющая нас сегодня.

Она, природа, и сегодня красива во все времена года.

Зимой ли, когда багровеет над округой крещенский закат и сиротливо дремлют в редких уже деревьях занесённые снегом избы.

Весной ли, когда пережившие зиму хозяева жгут в садах и огородах прошлогоднюю траву и слушают вздохи пробуждающейся земли.

Летом ли, когда нескошенные луга и поймы рек кружат голову запахами трав и цветов, а в пустых ещё вчера деревьях открываются заколоченные на зиму окна добротных родительских пятистенков.

Осенью ли, когда вспыхивают перелески и занимаются огнём ближние и дальние леса, полные ягод и грибов, а вода в дорожных колеях до рези в глазах пестрит от сорванной ветром листвы.

И когда я читаю стихи Рубцова, то мне кажется, будто через него сама природа Русского Севера открывает нам свою живую душу и в стихах его выражает саму свою суть.

Это и через его стихи, признаюсь, и у меня самого появились лирические откровения и философские раздумья о родине и о судьбе Отечества.

Я бывал в Николе во все времена года.

И всякий раз, откликаясь душой миру и людям, я думал не только и не столько о поэзии, сколько о своей судьбе, волею которой, как и тысячи моих сверстников, оказался однажды в городе - да так в нём навсегда и остался.

У Николая Михайловича была такая же судьба. И его больно ранили грани между городом и селом.

Но согласия между ними, городом и селом, ни он, ни мы, мучаясь, так, наверно, никогда и не найдём.

Время неумолимо и безжалостно ко всему, что нам с пелёнок знакомо и что нами с детства любимо. Всему своё время и всему свой срок.

Все мы в этом суматошном и непредсказуемом мире пребываем в вечном поиске самих себя.

И я - не исключение...

Ему было семь лет, когда он первый раз вышел сюда, на берег реки Толшмы, и увидел на другом её берегу храм, уже обезглавленный и разрушенный людьми и временем.

Увидел, почувствовал и написал:

Россия, Русь - куда я ни взгляну...

За все твои страдания и битвы

Люблю твою, Россия, старину,

Твои леса, погосты и молитвы.

Люблю твои избышки и цветы,

И небеса, горящие от зноя,

И шепот ив у омутной воды,

Люблю навек, до вечного покоя...

Я прошёл пешком и дорогу, которую он одолел ещё в семилетнем возрасте - в 1943 году.

И здесь, на ней, особенно обострялось чувство жизни и судьбы.

В отличие от многих сверстников, Рубцов свою судьбу не проглядел.

Он её почувствовал и угадал. Это дано далеко не каждому. И судьбе своей он никогда не изменял. Потому и жизнь его - светлая и трагическая - была ему так органична, потому и выразил он её в своих стихах так точно и пронзительно.

А через свою личную судьбу выразил и жизнь целого поколения - до- и послевоенного.

И мою жизнь тоже.

Иду по его дороге, а мне кажется, что иду по дороге моего детства.

И здесь, и там - приметы одни и те же - и времени нынешнего, и эпох отзвевших.

И всё-таки мне лично верится, что Россия-Русь сохранит себя, во что бы то ни стало и вопреки всему, потому что без неё и вся планета осиротеет.

И, не приведи Господь, погибнет...

«Россия, Русь, храни себя, храни...»



Михаил Копьев. Портрет поэта Николая РУБЦОВА



Виктор КОРТАЕВ

ВИКТОР КОРОТАЕВ: «Я ВАС ДАВНО ЛЮБЛЮ, РОССИЯ...»

*Пятками протопая босьми
По тропинке солнечного дня.
Хорошо, что родиной
Россия
Чудом оказалась у меня...*

Виктор Коротаев

1. О жизни и любви

Он любил её, Россию, как женщину. Любил по-настоящему. Может быть, так, как в жизни любил только тех женщин, которые были похожи на неё.

И «легко вдвоем» ему было только с ней, Россией. Легко и одновременно мучительно тяжело, потому что, не «появив эту землю», и ему, и всем нам «до конца в себе не разобраться...»

Что правда, то правда. И у него, и у нас была и остается одна «издавна родимая земля», на которую «век смотри - и все не наглядеться / век живи - и всё не надоест...»

Мне так понятны эти простые, но до озноба пронзительные строки:

Ну что, казалось бы, такого...

А я лисую и свечусь,

Едва услышу это слово

Совсем коротенькое -

Русь...

У меня у самого есть строки, созвучные с этими. Не думаю, что написал я их под его влиянием. Нет, скорее потому, что именно так чувствует свою землю каждый русский человек, на ней живущий. И я тоже, чувствуя «горький и сладкий дым Отечества», однажды написал:

Отзываясь на запах его,

Перепутаешь дни и эпохи.

Дым над полем висит - и всего!

Но дыхание сводит на вздохе...

Виктор Вениаминович был моим учителем - строгим по жизни, а в творчестве - почти беспощадным. Я пишу о нем как ученик о великом учителе. Пишу спустя десять лет после его смерти.

Читаю его стихи и не перестаю удивляться тому, как он любил свою землю и сколько проникновенных стихов ей посвятил. Стихов, которые и сегодня, как поэтические откровения, заставляют и нас, его современников, о многом задуматься, перешагнув порог третьего тысячелетия.

...Последних журавлей печальный клич

Катился в светозарную безбрежность...

(А мы не можем до сих пор постичь,

Откуда в нас такая боль и нежность),

Река горела сдержанным огнем.

Над нею глыба каменная стыла...

(А мы себе вопросы задаем:

Откуда наше мужество и сила?)

На горизонте высились бугры.

И дальше заслонялось диском солнца

То, что пока в нас дремлет до поры.

Но все равно когда-то

Отзовется...

В нем это неведомое, «дремлющее до поры», отзывалось в судьбе чаще и больнее, чем в судьбах наших. Он и сам «умом не постигал», увидев «звезду сторожевую», какие же через неё с миром вселенским в нём «связи оживают / и что творится там - в душе...»

Господи, как же искренне и самозабвенно он любил свою землю!

И от любви этой болевой только ему и только на ней, на земле, принявшей его,

и дана была поэту сила почувствовать душою, «где даль растворена... как эта маленькая родина / соединяется с большою...»

В этой любви он признавался и «осинушке», припадая к ней в минуты тоски и грусти. И ромашкам, которые «гадали о его судьбе». И кукушке, которая пророчила ему бессмертие. И ручейку, который, узнав о его появлении на белом свете, подарил ему громкий и неповторимый голос.

Но «беря и примеряя» всё на себя, дарованное ему Богом и Судьбою на благо-словенной русской земле, он, обрета голос поэта, понял, как велика за всё дарованное свыше и плата - быть не только благодарным, но и «всюду верным природой своей...»

А быть верным себе - это, может быть, самое трудное испытание, которое в жизни выпадает каждому из нас.

И, к сожалению, не все это испытание выдерживают...

Виктор Вениаминович Коротаев выдержал не только это испытание - может быть, самое трудное, какое только и бывает в человеческой судьбе, - испытание поэтическим словом. Но выдержал и многие испытания другие, не менее коварные и горевые, и преодолел по жизни столько лукавых и губительных соблазнов, выпавших на его долю - в любви, творчестве и политике, что об этом и подумать-то даже страшно.

И выдержал он их, как я думаю, потому, что крепко чувствовал под ногами своими родную землю, на которой «всё вошло однажды в сердце / и в нем осталось навсегда...»

А перед этой землей все мы в долгу. Чувство вины перед ней в нас неизбежно. Нам легче на ней чувствовать себя детьми, для которых ветер ищет для нас «достойное имя...»

Слава Богу, ветер, тогда еще в округе русской не бездомный, нашел Коротаеву достойное его имя - Виктор!

Победитель!

Нет, у него и смех был не от «колокольчика». И глаза тоже были не цвета «зацветающего льна». И слезы у него, конечно, были не от росы, а от непредсказуемой жизни. А вот прическа, действительно, напоминала «густую, волнистую рожь». Поутру она порой напоминала ураган, прошедший не смутной, а звездной ночью.

Да, Виктор Коротаев был и таким - неукрошенным.

Меня всегда поражала его безграничная любовь к родной земле. Мы все её любим - русскую землю. Чаще тихо и смиренно.

Виктору Коротаеву было еще дано и слово, через которое он смог свою любовь вдохновенно и пронзительно выразить. Выразить так точно и так искренне, как, увы, не мог, но хотел бы выразить её однажды каждый из нас.

Он знал историю своей земли в самых разных её проявлениях - светлых и трагических. Знал и понимал, что в цепи поколений, вершивших на ней державные и личные дела и защищавших её от многочисленных врагов, он лишь звено, скрепляющее эту цепь. И это было надежное звено, временем закаленное и душою до колокольного звона выверенное.

На этой горестной земле он «был и остался солдатом». От имени её, помня о том, как стояли за русскую землю наши предки, он ответственно заявлял, что так же верно и беззаветно «мы за эту постоим...»

И это не поэтическая бравада ради красивого словца, нет, это - обнаженная до наготы правда его земной жизни, в которой он, как и вчера, постоянно отбиваясь от врагов, выходил к родному порогу, как будто «только что из окруженья, / еще и остыть не успел». Он, не раз и не два «пятками босыми протопав по тропинкам солнечного дня», мистически верил в то, что у него каким-то «чудом родиной оказалась Россия». Земля, на которой он «так ясно каждой клеткой помнил и жил...»

И он за неё стоял до конца, видя, что происходит с русской землей и его народом во второй половине двадцатого века.

Потому и возвращался он «к тропинкам дедов» и к их земле, «где наша вечная тоска / и наши вечные истоки...» Возвращался и в раздумьях ходил по заповедной тропе, «чтобы она не пропадала».

Он-то знал, что «деревянная Русь» всегда стояла «на самой дороге», на самой главной и фронтовой тоже, когда проходила она «вдоль русских посадок», обожженных войной, и чутко слышала шум разноголосых перекрестков безумного в войнах мира и всегда принимала на себя удары земных и космических потрясений.

Всегда принимала, но не всегда понимала, особенно в век «скоростей новых», когда неожиданно для себя «и сама осталась в стороне». А ведь, как и всякая дорога, она звала всегда «куда-то вдаль».

Он со свойственной поэту наивностью назвал это «нелепостью судьбы», но, как истинный поэт, он не мог не видеть и не чувствовать, как на его веку и на его глазах «цветет в природе какая-то важная нить».

Желали вроде бы деревне добра, увводя дорогу за околицу, а оказалось, что через эту дорогу она с годами будет обескровлена и опустошена. И к ней, русской деревне, теперь уже и «справедливость, наверное, не дойдет и пешком» никогда.

Уже на его коротком веку он застал, когда «на всю деревню не было ни огонька». Когда «под небом древним», где «повсюду раздолье, а сердце сжимает тоска». Когда «больнее и горше» оттого, что «не поймешь - отчего?».

Больно поэту и оттого, что и не «без участия его» в «жизни делается дело» - доброе и худое. Горько оттого, что на «не избалованной родине своей» и сам он, ратуя за неё во весь свой державный голос, «не лишка тут вспахал полос». Потому-то, осознавая, что происходит с его родиной, Виктор Коротаяев, предчувствуя «время расплаты», «и посреди земного шара» почувствовал вдруг себя «одиношеньким». Даже тогда, когда перед ним «зеленый мир в цветах и звуках / стоял, как праздник...»

И он был на этом празднике, когда «над полем тишина стеклянная звучит», и ему, может, на нем-то, веселом и горьком русском поле, больнее всего и было, когда он чувствовал и, чувствуя, понимал, что «земля не помнит зла / земля любовью дышит, / и всё не может нас / тому же научить».

«Но не в этом ли и есть главная суть?» - спрашивал он самого себя.

Наверно, она и в том, что сам поэт «в почву, как дерево, врос», и что его «от земли / земля никуда не отпустит». И не беда, что не все его ровесники из предвоенного поколения «сделались славой России». Главное, что все они были «дети кровные отчей земли» и все искренне служили ей и верили «в назначение свое». Главное, что с рождения они «терпеть не могли... фальшивость и гнилость», а ходить «по жестким травам века / выучены с детства босиком...»

Что делать, если судьба, выпавшая на их долю, и «пометившая их бедой», как «неведомая сила», «тяжко отстрадать постановила». А он, как и в прежние времена, всегда «равнялся на свет отечественных звезд», потому как у него, как у каждого русского человека, «особый жребий: хлеб растить и землю охранять», потому, как и «матери рожают не солдат, / матери рожают хлеборобов».

Он понимал и, понимая, опять же горько переживал, что порой «силы предпоследние уходят / на сущие в итоге пустяки». И это тогда, когда он, по внутреннему своему ощущению, «созрел для большой любви и добрых дел», когда

Вдруг поднимается в крови.

Как озимь, молодо и густо.

Всепобеждающей любви

Всепоглощающее чувство...

Он так хотел быть счастливым на русской земле. Но на нашей-то благословенной земле возможно ли такое? А ведь он не первый был на ней по-настоящему счастлив. Ему, как и всем нам, на этой горестной земле живущим, и для счастья-то было надо совсем немного: «рассветный луч, пригоршня света / да полдесятка добрых слов». Он верил, засыпая от усталости, что на родной его земле «утром река и береза», что бы с ним с вечера ни случилось, «наставят на истинный путь», и что ему тоже когда-нибудь «посчастливится пожить любимым человеком...»

Нет у меня иного счастья.

Чем тихий берег над рекой.

Где доброй бабушки участие

Оберегает мой покой...

Он не знал в жизни покоя, но он так беспокойно искал его и так безнадежно желал. И мне понятно, почему мы, словом замороженные и на слово обреченные, так «рвемся к тишине» из суетливых и бесплодных буден. Потому и рвемся, что в мире этом «знавали слишком много грома». Рвемся к тишине, а обретаем бурю.

И вроде бывает порой «много кругом тишины», желанной и светлой, да вот только в ней-то обрести бы «еще немножко покоя...» Но так в жизни поэтов, к сожалению, не бывает.

На его и на моих глазах тоже «каменели лихие года» и «бронзовели крутые эпохи». Я так же, как и он, вернее, через него, я чувствовал, «как, сверля воздух, пробивается новая сила» и как «летит в мирозданье Земля» - наша общая «колыбель, жизнь и могила».

Я знаю, что нас, людей, разных по возрасту, сблизило. Сблизила нас «единая кровь» и «на коже рубцы грозвые», а еще сблизила «бессмертная к жизни любовь / и смертельная ненависть - тоже...»

Чашу, предназначенную ему Богом и Судьбой, он выпил до дна. Красиво и достойно, не посрамив, выражаясь его же словами, «родовых кровей». Он умел держать удар. Он не боялся смотреть в глаза друзьям и врагам, эпохе и судьбе. Он так и писал:

*С жизнью в жмурки не играю.
Сознаю теперь вполне:
Чашу, полную до края,
Предстоит испить и мне.*

*Тяжела литая чаша,
Предначертанный сосуд.
Но такая доля наша -
Легче нам не подадут.*

*Не откинешь, не отменишь,
Не отложишь наперед,
И с друзьями не поделишь.
Потому как в ней не мед...*

*Что бранить судьбу-присуху,
Распалить напрасно грыть.
Набирайся лучше духу,
Чтоб кровей не посрамить.*

*Пусть потом не взвидишь солнца.
Не твоя на то вина,
Что испить её придется
Одному. И всю до дна.*

2. О воле и о смерти

Сегодня я был в доме поэта. Бывал я в нем и раньше. Бывал, к счастью, не раз и не два. Он меня, спасибо, всегда привечал. Встретился с женой, Верой Александровной, и его сыном - талантливым человеком и поэтом Александром Коротавым.

Мы вместе разбирали архив. Вернее, не архив (он необъятен), а только верхнюю, видимую его часть. Его архив похож на айсберг, дрейфующий в поэтическом океане, непредсказуемом на погоду и моду.

Мне всегда было хорошо в его доме. Мы вспоминали Виктора Вениаминовича и думали о наших земных судьбах. Думали, и сегодня еще не понимая, с каким человеком и какого масштаба нам довелось жить на изломе эпох.

Он был рядом со мной много лет. Он мне помогал как мог. Мы даже вместе копали картошку на моем участке в голодные девятидесятые годы и, как сейчас помню, радовались её небывалому урожаю. В его погребу я картошку и хранил. Своего погреба у меня тогда не было. Впрочем, нет его и теперь. Он в меня верил, а эта вера его вселяла в меня страх, потому что за неё надо было отвечать по большому счету, и веру эту надо было оправдать, и самое главное - подтвердить делом и словом. Он дал мне и путевку в жизнь, и в литературную жизнь тоже, благословив на неё, как будто на каторгу.

Благословил - и из жизни этой ушел.

Только теперь, спустя годы, перечитывая его стихи, я начинаю понимать, до какого накала доходила его душа и под каким напряжением билось его горячее, торопливое и ранимое сердце.

Сердце русского поэта.

Он свою судьбу чувствовал, как может чувствовать её только поэт, открытый миру и Вселенной. А русский поэт - особенно!

Он, живя «вечной жаждой творить», не мог никогда и никому позволить русское «чистое поле... осквернить сорняками». За неё, родную, он мог «обронить свою голову и, как русский мужик», потери этой «не заметить».

Теперь-то я, ставший седым и сам, понимаю, почему у него были на переломе времен «одни сомнения в душе» и почему в ней «никакой почти не было веры». Теперь-то я понимаю вполне, как жгли его «думы о родине любимой», когда не было возможности даже «подумать о себе». И напрасно было искать «душе успокоенья».

Вот и он, незабвенный Виктор Вениаминович, «всю жизнь» только и делал, что боролся, «вместо того, чтобы - жить...»

Он не мог понять, тем более не могу понять и я, почему « у земли моей... для всех одинаковой матери - такие разношерстные дети?»

Он так берег свою душу, чтобы «не выстудить её... и удержать в домах тепло». Нет, «не заносы, загибы, запои» - не это было главное в нем и во всех русских поэтах разных эпох и времен. Не это!

Что делать, если на них, поэтов, «по совести живущих и закону», всегда была вне сроков и законов «открыта охота». Слишком неудобными они были вчера, и такими же остаются они, к счастью, и сегодня. Но это их природная черта и, может быть, знак божественной избранности. Но в этом, увы, и трагедия их - «погибать в расцвете лет», хоть погибать в такие годы - «нам грешно».

Но ведь погибает! Сколько их, русских соколов, отлетело уже в мир иной от любимой земли даже на нашем коротком веку? ...Похоронили литературного критика, державшего всех пишущих собратьев в жестком теле, - Василия Александровича Оботурова.

А современники наши (люди разных судеб и профессий) всё отлетают и отлетают в мир иной с чувством исполненного долга и с искренней верой, что они «бесследно не расстают и безвозвратно не уйдут».

Хорошо бы так!

Но страшно думать о том, что они, Богом отмеченные и Богом призванные на эту землю, так обостренно чувствовали, что на них уже с пеленок время, отведенное им, «старательно кроит смертельную рубаху» и даже «примеряет, ловко подгоняя под размер...»

Такое ощущение, что и он, Виктор Коротаяев, просыпаясь поутру, нередко видел эту «новенькую белую рубаху», что висела над ним, как «распятая». И это тогда, когда ему «с каждым утром хотелось жить иначе и открытей» и, выйдя в парной июньский луг, с радостью увидеть «родину, которая, как мать, слезой озерною блеснет...»

Ведь так страшно «умереть, не дождавшись того, чтобы звуки померкли и краски. Умереть - до того, до того. И ни в коем уж разе - не после...»

Он свою смерть предчувствовал. Раньше, читая его стихи, я даже об этом и не думал. Я просто этих печальных настроений не замечал, видя рядом с собой такого богатыря, каких так не хватало на русской земле в те смутные годы конца двадцатого столетия.

Через его судьбу - судьбу большого русского поэта - я, может быть, только и понял, какую силу и какой драматизм несет в себе человек, отмеченный божественной искрой. Понял, как чувствует он время, принявшее его однажды на этот старый белый свет, и как обостренно чувствует он судьбу, уготованную ему в отпущенные на коротком человеческом веку годы.

Понял я и то, что при всей неукротимой его поэтической стихии и он, оказывается, был беззащитен перед своей судьбой, которую ему предначертал Бог.

Он и жизнь любил так обнажённо, ярко и стихийно, потому что чувствовал, что в ней ему при всем его богатырстве отведен совсем короткий срок. И он этот срок, отпущенный ему, чувствовал и тогда, когда все думали, что при его-то здоровье жить ему сто лет и что он, читая стихи о близком своем уходе, просто лишний раз бравировует своим недюжинным здоровьем.

Да нет, он не бравировал. Нет, он был и здоровьем, как вышло на поверку, не богатырь. Он был уязвим - суевой, бытом и, как ни странно, друзьями, а потом уже и грязной политикой людей, правящих его любимой Россией.

Но он был богатырь по духу. По духу он был русским - непоколебимым, бесстрашным и честным. Был таким, каким был его отец-фронтовик. И этим всё сказано.

Он был достойным сыном. И не только своего отца, но и двадцатого века. Не знаю, каким чувством он предугадывал свою трагическую судьбу. Видит Бог - не знаю. Но вот снова и снова перечитываю его стихи и не перестаю удивляться его холодным и как будто рассудочным предчувствиям своей смерти.

Это он, не помня о летах, «слушает весенних птах / так, словно больше не услышит...» Это ему кажется, что, бродя по мокрому лужку, «ему уже по нему босому не гуливать...»

Он и на Россию «смотрел так жадно», как будто бы и с ней вот-вот должен был проститься навеки, не успев «насмотреться на зарю» и «надышаться синевою».

Он чувствовал, что судьба ему готовит «какое-то потрясенье». Потому и память его, «медведем разбуженная», так часто вставала «перед ним на дыбы». Пото-

му, «встревоженный грядущей вестью», он и каждую свою песню пел на людях как прощальную. Потому и слово у него «ворочалось в сердце, точно глыба». Да, он, по его признанию, «с рождения уже самосожженец», просто «следы ожогов» до поры до времени были «скрыты от сторонних глаз».

А душа его «металась туда-сюда», как «под ногами мечется былинка», а «слово наворачивалось, как слеза...» И ловил он эти слова, «что спали на чутких ветках вдохновенья», как бабочек.

В жизни он, восхищаясь ею и над нею плача, был похож на «косача, потерявшего башку». С вечера он не знал, что «завтра небо на головы обрушит нам». «Предчувствие грядущего конца» выдавало себя «бледностью его лица». Не все и не всегда эту бледность в его лице при жизни замечали. Уж слишком здоров и могуч он был, поэт Виктор Коротаяев, а сам-то он, глядя на «злато заката», не мог понять, почему оно, заглядывая в его земные глаза «спокойно и угрюмо», не дает ему «ни жить, ни умереть».

После этого он для себя категорически и не раз заявлял: «Нет, видно, надо умереть...» Он даже понимал, почему умереть надо. Потому, что на родной его стороне и в любимой им России только после смерти и может, «равнодушная сначала», зазвучать во славу ему «законодательная медь». Увы, но это правда. Веками, замечу, выстраданная правда и не одной судьбой оплаченная.

Понимая это, он не жалел себя и хотел как можно быстрее «спалить себя, спалить дотла», чтобы и друзья, «с трудом пьянея, признали, сидя у стола, что в мире стало холоднее...» Он был убежден, что только «смерть докажет без труда, что целой жизни не под силу». Он так думал, и я не скажу, что он ошибался. Нет, просто время его еще, к сожаленью, не пришло. Да и друзья, наверно, до конца не смогли оценить масштаб его дарования и личности.

Он, воспевая родную землю, думал о своей звезде - поэтической. Она манила его, но он не знал - куда? Не знал и боялся, каждодневно готовясь идти на её далекий и, может быть, обманчивый свет.

Он похоронил своего друга - Николая Рубцова. И он не мог, склоняясь над гробом поэта, не почувствовать его «грозную трагическую тень...»

Не знаю почему, но он, такой сильный и даже могучий, писал после этого о себе так обреченно и горько: «Я не заживусь на этом свете».

И это тоже, представьте, его строки:

И можно, не старясь, закончить пути:

И сладко растаять, и тихо уйти...

Уйти «без боязни, поскольку навек», уйти для того, чтобы там, на небесах, «ничто не могло потревожить его ночных раздумий о себе». Он понимал и даже усмехался, оглаживая любовно свою черную бороду, когда её носил, что «прожил бы лет девяносто, когда б поумеренней жил». А вот ведь, жил-то не умеренно и по-русски разгульно, потому «и умер, как будто нарочно, во цвете, во празднике лет...»

Да, смерть свою он предчувствовал, иначе бы не написал, что смерть его «не за горами».

Не знаю, какой смысл он вкладывал в эти вот трагические строки, но думаю, что вкладывал смысл глубокий:

Если жить достойно не придется,

То принять достойно надо смерть...

Я не знаю, что с ним по жизни случилось, но мне, как и ему, в мире нынешнем «страшно жить без веры и надежды», но «еще страшнее помирать». Это его строки. Но я готов под ними подписаться.

Может, потому и кричал он на всю Вселенную: «Занесите меня в Красную книгу», чтобы на любимой им русской земле однажды «не занесли его в книгу Черную»? Не знаю, но думать об этом не перестаю...

Он даже представлял, как «в последний миг земные рощи с высот небесных оглядит» и как «эту жизнь, минувшую так скоро, в последний раз благословит».

Он предвосхищал радость этого смертельного полета и по-русски сожалел, что этой «последней радостью открыться» не сможет, увы, ни с кем поделиться.

Да, он предчувствовал, что «годы его на исходе», и что «старые волки топчутся и ждут-поджидают его».

Но хорошо бы умереть не где-нибудь и не пропасть абы как, а мирно и достойно, «надеясь на высшую милость», «заснуть под заветной сосной».

Он понимал, готовя себя к вечному покою, что «всё, что творилось с землей» на его глазах и во времени, ему отпущенном, «с душой уже сотворилось...» И не было ему «жаль большого тела», тем более что «душа прохвачена давно», и остались в прошлом его «неперспективные закаты и бестолково прожитые дни». Тем

более что и он, здоровый русский мужик, не знал, как можно (и можно ли вообще?) «это время зыбкое подольше удержать».

Он стремился туда, откуда «правда, может быть, и виднее...»

Но он, тщетно взыскав её, еще и добавил: «Виднее - да, но вот скажу ли я, что от этой правды - веселей?..»

Вопрос остается открытым. Задаю его в который раз себе и отвечаю строками из стихотворения Виктора Коротаяева:

*Ничтожность смерти одного лица
Перед лицом бессмертия Вселенной...*

Он был готов оставить этот мир и переместиться в другой. Одного только, как грешный человек, он, судя по всему, очень боялся, «представляя свой последний путь». А боялся он того, что вдруг «некому будет собрать его в дорогу и некому будет помянуть слезою...»

Не могу понять, почему он так рано от нас ушел. Не могу принять эту утрату и никогда не смогу. Такого не должно было быть.

А он ушел?

Нет, он не ушел. Он рядом. Только мы-то, по рукам и ногам связанные пустяшной суетою, никак не можем понять, как надо, пока живы, радоваться «каждой травинке, росинке, лучу...»

Это его простое и вечное завещание.

Как у поэта истинного, у него было обостренное ощущение окончания земной жизни, так им любимой. Не потому ли он так её любил и воспевал, боясь опоздать и не досказать все то, что мог сказать о ней только он, поэт, Богом призванный на эту землю...

А уж как он живописал свою Липовицу! А в ней-то не просто деревня, в ней - вся Россия!

И мыслил он державно - и мысль его простиралась от маковки сельской часовенки, восстановленной, кстати, после его смерти и не без его участия, до куполов Московского Кремля.

Бог испытал его на любовь к этой земле. Он этой земле послужил. И любовь к ней подтвердил своими стихами.

Он помогал всем, кто служил и служит своей земле, не думая о себе.

Он ушел из жизни рано, потому что слишком был сильным. А сильных людей, преданных родной земле, не любили и в России, тем более её, сильную, никогда не любили враги.

К сожалению, и друзья поэтов во все известные нам времена таким подвижникам Руси помочь, как надо бы, не могли, хотя и ...

И нам некого винить в ранней смерти светлого и сильного поэта, кроме самих себя - равнодушных и слепых.

Так пусть хотя бы сегодня работает его слово, разбуженное поэтом и в его сердце закаленное до высокой пробы - той пробы, от которой происходит в чувствах короткие, как в быту, замыкания. Почаще бы нас замыкало на любви к своему дому и к отеческим гробам.

А самое главное - найдутся ли завтра читатели, в чьих сердцах слово поэта отзовется, как родное?

Вопрос, опять же, остается открытым...

По крайней мере, для меня...

У Виктора Вениаминовича каждое слово бьет током. У него даже между строками искрит и знобит - от его духовного напряжения. После прочтения его книги «Вечный костер» у меня у самого душа будто обуглилась, чтобы потом, как я понимаю, из пепла заново возродиться.

Не в этом ли и скрыт тайный смысл поэзии? Не над каждой книгой стихов я испытываю такие чувства, и не каждая поэтическая строка искрит в моей душе и заставляя с переборами биться мое сердце...

Слава Богу, мое сердце пока бьется. Значит, я должен сделать что-то важное, сделать то, что не успел мой дорогой учитель...

МИХАИЛ СОПИН: «ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ...»

Поэт Михаил Сопин родом из курских земель, но главные свои книги написал на земле вологодской.

Я помню, как Михаил Николаевич Сопин последний раз участвовал в областном литературном вечере в большом зале филармонии. На вечер привезли его из больницы. Он выступил первым и сразу же уехал обратно. Может быть, в этом поступке и весь его характер - волевой и болевой.

Таким он был в жизни, которую знал не понаслышке: в 1938-м потерял отца. Ему было десять лет, когда началась война. В самом начале ее он потерял двоих братьев и деда. Был в оккупации в Харькове, а после освобождения города продвигался с нашими войсками в сторону германской столицы. В четырнадцать лет он встретил в Берлине День Победы.

Прошагал я с войной полстраны.

Пол-России прошел по этапу...

После войны за все недетские страдания и муки он был отправлен в лагерь.

Я был не по своей вине

Живой мишенью мертвых пашен:

Четыре года на войне

Полвека - без вести пропавшим...

Он мог погибнуть на войне, но «судьба исчезнуть не дала». По жизни он шел «от себя к себе по большим воспоминаниям». Он остро чувствовал, что в них - детях войны - затаилась «минная память» и она «однажды живых подорвет». Подорвет, потому что «былое соткано из боли, и дом стоит на минном поле».

Мой крестный путь -

В пожар из-под огня.

Без этого нельзя понять меня...

Вот его портрет, написанный современниками (из статьи Исаака Подольного):

«...На голове метель седых волос...» На впалых щеках - глубокие морщины. Застуженный хрипловатый голос, и пальцы, похожие на барабанные палочки, - верные признаки застарелого лагерного бронхита. Синие веточки вен на натруженных руках. Каким только черным трудом не пришлось заниматься в долгие зекские годы! Глаза усталые, но внимательные, настороженные, но добрые, то вспыхивающие в понимающей улыбке, то гаснущие в разговоре о суетных мелочах. Со скепсисом улыбки на губах. Характер - жесткий, но не озлобленный...»

Таким его запомнили мы, когда он появился на вологодской земле.

«Цинготный. Голодраный. Бесспортошный... Клейменный сын казненного народа». «Перекатная голь, беспризорное детство». Его «лучшие сны - суетня привозкальных базаров, его нежная мама - степная, безлюдная даль».

И он не один был такой. Их было много - «кукушат страны, злого века больных побегов», которых «прогнали по земле, как скот, батогами». А сколько их осталось на мертвых обочинах, «неуслышанных, неотпетых», тех его сверстников, «кто не дополз, упал, не додышал».

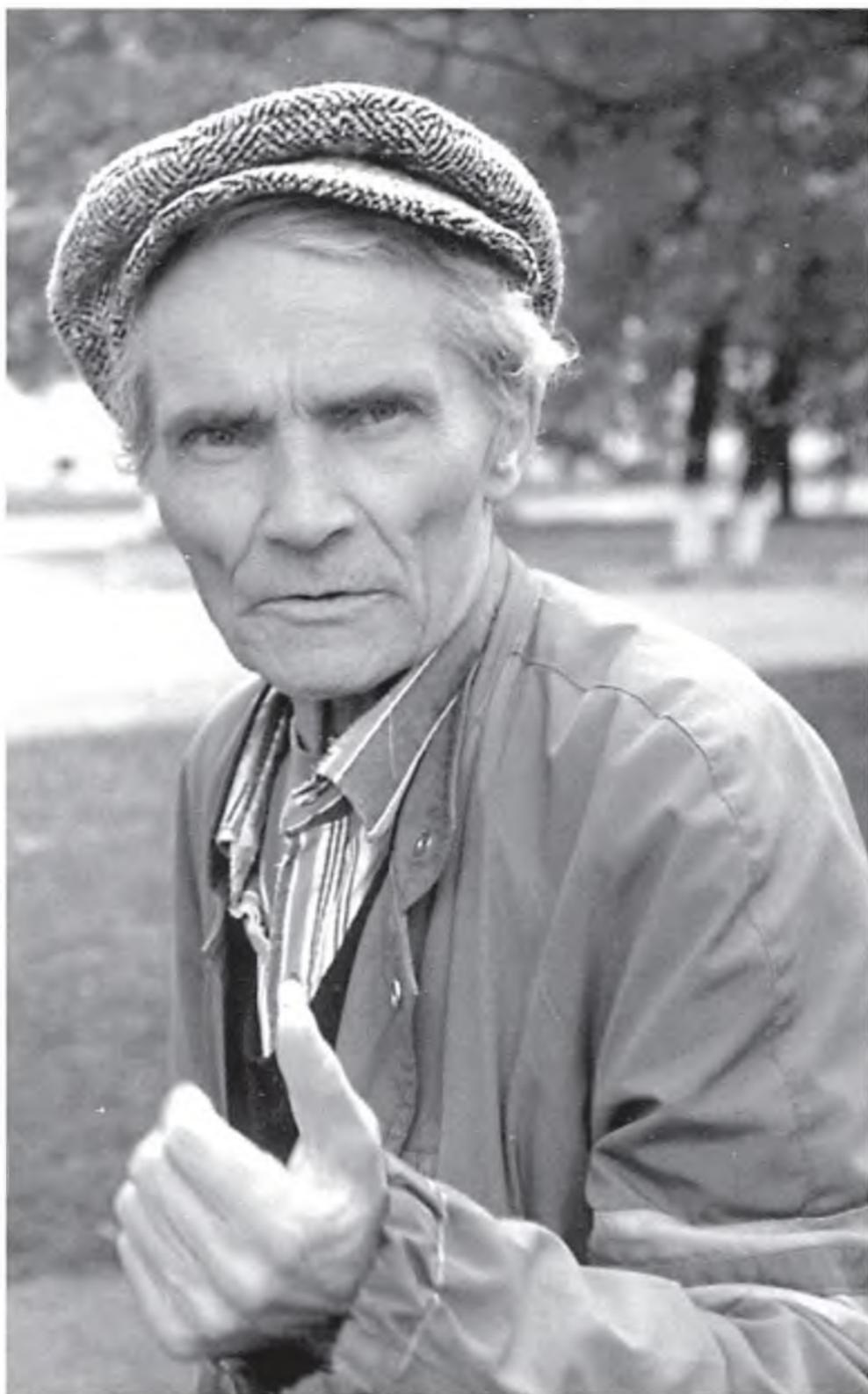
Памятник детству своего поколения Михаилу Сопину виделся только таким - «ладонь пред лезвием штыка».

От имени их, «дорогих-дорогих по несчастью и по судьбе», канувших в бездну, за всех, пусть и «с кляпом в горле», он умолял Россию «послушать исповедь его», хотя уже тогда понимал, что «стране родной» не нужны самобытные и сильные голоса, «стране необходимы подголосья». Он рано понял и то, что «солдат - герой, пока он нужен, а как окончится война - забыть».

Он шел «под таинством неба». Он шел «по таинству поля». Он «столько лет - светло и трудно - нес неизбывную память» о времени, о себе и о жизни, которая «волючила-колотила на изгиб и на излом». Но он любил свою жизнь, которая «пронесла его вольным и битым... по надеждам, годам и обидам».

У него, как ни у кого другого, был свой диалог с Россией, и свои у него были к ней счеты. Он и разговор с ней вел до конца жизни, и счеты ей предъявлял до последнего вздоха, потому что «и у памяти есть свой счет».

«Свои болевые раздумья» поэт писал на страницах ушедшего столетия. Писал не для всех, писал для своей «семьи», в которую он включал «всех изгоев страны,



Михаил СОПИН. Фото Алексея Колосова

всю российскую голь», писал он «для того, кто одинок». А таких «одиноких изгоев» в России миллионы и сегодня. Они-то его голос слышали всегда и через его боль утоляли свои неизбывные боли. Вот одно из таких искренних признаний.

Автор его - Иван Брусенский: «Молитвы времени разлома» помогают мне тянуть нить раздумий так же неравнодушно, как жил и писал сам Михаил Николаевич Сопин - Поэт Земли Русской».

«Поэт Земли Русской» рано понял, что на этой земле он «не лишний» и что «для черного дня Всевышний готовил его в летописцы». И потому, не жалея сердца, он и «голосил от утратного счастья в далеком - в России».

«Пацан-солдат, бездомник, тать. По каторжным и беженским дорогам пройдя, я мог на Родину роптать...».

Нет, стихи его не ропот - это крик души. Души, в которой «солнышка нет». Души, которая «темна, необитаемо пуста, как церковь без креста». Души, которая «болит без слёз и воя, доброты в живых не находя», и «живет, но бескрыло». Души, которая «устала, а не отболела от жизни попоранной».

Для Михаила Сопина, прошедшего войну, «душа, как почта полевая, и боль к ней идет со всей России».

Ему ли, поэту от Бога («а в душе - у нас каждый пророк»), не знать и не чувствовать, что «душа не запоет, пока не выкричится и не выплечется в горе». Как часто именно она - «душа кричала в нем несогласно и призывала к любви». О ней, «о душе, сорвавшейся с орбиты», он всю свою жизнь «хрипел горлом перебитым», и «на последний поклон» совсем не случайно душа его «возвратилась к ликам храмов бревенчатых».

Душа бессмертна. Потому, как заклинание, читается вот это его пронзительное стихотворение:

«Стой... че-ло-век...»

Застыл я, не дыша:

Ржавь проволоки,

Вышки да березы.

Я камень сдвинул,

А под ним - душа.

Пршльнул к травинкам -

Зазвенели слезы...

Это людей, близких по судьбе, он «не клял и не бранил». «Родной же край» он в стихах даже «предал анафеме», а «за тыл кровавый, за войну» он «родную страну возлюбил, как своего врага».

Россия Михаила Сопина - «ум и нежность, душа».

«Другая Россия - не моя», - заявлял поэт. В другой России он чувствует себя «живым среди убитых и неживым среди живых». В ней он «ищет живых на той войне», поскольку «здесь мир не его, страна другая», здесь он «чужой до содроганья», здесь «через сомкнутые веки он плачет о себе, о человеке».

Другая Россия - это «вечный фронт без тыла». Это «гнев, зависть, злобность человечья». Это «слеза бесправья и бессилья».

А наяву

Любовь - вражда!

Спящиеся деревни.

И манекенов города...

В другой России - «ни мира, ни лада». В ней «кретин исцеляет кретина, дурачит дурак дурака». «В замордованном краю» «бандитствует народ», где «на вечном каторжном снегу» горит России «черная лампада».

Другая Россия - это «страна перемещенных лиц», «страна покорства и тиранства», которая бросается «из рабства в бунт, из бунта в рабство», «казнит и славит на бегу» своих подданных.

Он знает, какая она - другая Россия. Он «знает и чего ему в ней не надо: шизоидов, рвущихся к власти, младенцев с глазами рабов».

Он ненавидит власть не только за свое убогое сиротство. Он предъявляет ей свой счет «за интернат, за скорби дом, за старых и новых вдов, за Артек, за Чернобыль, за тех и нынешних сирот». Ему кажется, что в такой стране, как Россия, нам «не суждено выйти из круга нищих благ и планетарных потерь».

Поэт с ужасом открывает для себя, что «мы за Россию столько уложили, что уж самой Россией не выдать». И что же это за страна, в которой Михаил Сопин «на участь живого отца жалуется убитому сыну». И сколько уже после последней войны таких же, как и он, отцов «встретили сыновей в обугленных веком урнах»?

Для него Россия - это «птица, над землей обильной ослепшая от поиска пути».

это «страна без смысла и без толка», страна «больная, блатная и ссученная». И этой стране, «в которой жизнь теряет цену, он отдал всё», поняв, что это уже «не беда, а путь страны, когда беда сменяется бедою». В России «одинаково страшно всевластье её и бессилье». В ней человек «к концу пути приходит в никуда, не понимая - кто он и откуда».

Прав, наверно, критик Андрей Смолин, написав о том, что «стихи Сопина нельзя читать помногу, взалхлеб, как читаются иной раз другие поэты. Дело не только в том, что его судьба ярко, даже насильно вмещается в них. Михаил Сопин и является примером того, что поэзия и судьба не только неразделимы, но кровно связаны одна с другой. Суть в другом: он не боится взять с собой читателя на вершину бытия, обнажить перед ним сердце, душу...»

«Его стихи опасны, как огонь...» - так точно и ёмко определили суть творчества поэта коллеги-писатели.

Исаак Подольный подчеркивал гражданственность его поэзии: «Жизненный опыт сделал его творчество, я бы не сказал, более публицистичным, но еще более зрелым. На крутом времени разлома автор чувствует самую высокую ответственность не только за личную судьбу, но и за будущее России. И он не хочет, чтобы новая Россия сохранила черты страшного прошлого: невежество, жестокость, раболепство перед сильными мира сего...»

Да, такую Россию поэт проклинает. Такую Россию он ненавидит. В такой России и народ для него чужой - не свой по духу.

Он с болью, «закусив удила», спрашивает у себя и у других: каким «надо быть народу самому, чтобы назвать свободою тюрьму»? Народ живет, как «раскрепощенный раб, тоскуя об ушедшем», и в любую минуту он может «отдать, предать, оступиться». «Ленина продали нынче, Господа Бога - вчера». И сам поэт не раз предан «в будущем, в прошлом и тут...».

Народ «живет - не живя». Он и «умирает, не пожив и не дожив», «сын идет на отца, отец - на сына», «глухое безразличье у сестры к сестре», «воюет брат с братом, семья с семьёй враждует». И никуда и никогда «не исчезает русский враг - услужливый дурак». «Мы - вороги наши. Мы сами себя прокосили!...».

Всё в нас самих.

Россия -

Это мы...

Поэту «тяжко жить среди толпы, чтоб не сказать - невыносимо». Он не говорит, он кричит:

Ты, ты, народ, для самого себя -

Безжалостный,

Безумный враг народа...

А сам он «живя в народе - народом не был», потому что в «мир этот прекрасный и позорный» он «один пришел и отойдет один», каждодневно живя «на взрыве двух больных энергий - своих страданий и чужих обид».

Поэт понимал, что «и беда, и вина, и паденье, и святость - мы сами». И как бы он ни клял страну свою, как бы ни отрекался от «рабского» народа, но именно в этой стране и с этим народом «прошел он по тревожным тропам в мечтах о великом «счастье». На этой земле, чтобы «не сбиться» с пути, шли они вместе, как слепые, «друг другу ладонь на плечо положив».

С ним, русским человеком, «избитый судьбой» и, «как собака, избитая жизнью», «переломанный, разбитый, перелатанный», он не раз на коммунальных кухнях зализывал раны и набирался от него живительных сил. Здесь, на этой горестной земле, а не на какой-то другой, «манили его небо, воля, крылья и ветры». В этой стране и на этой земле он «боялся жизни, но любил её» и «на ощупь - с младенческим сердцем шел по свету».

Так связано кровно,

Отчизна, так скованы жестко:

Трагедия века,

Победа, сиротство, тюрьма,

Избы не найдешь,

Нет семьи на родных перекрестках,

Где б женское сердце

За всех не сходило с ума...

Поэт всегда «ощущал себя единым со всем, что кругом», и понимал, что «порвать эту связь не сумеют ни время, ни враг». Он чувствовал, как «и прошедшего тьма, и грядущего свет меж собою ведут разговор».

И тут я не могу не согласиться с Александром Романовым, который, осмысли-

вая творчество Михаила Сопина, пишет: «А в поэзии мог бы он развернуться значительно как трагик человеческого бытия (вообще человеческого, а не только подконвойного, советского). Но для такой судьбы необходима мудрость, а не только злость-обида...»

Да, если в жизни он и «был счастлив, то без массового счастья». Его не покидало чувство, что он «умирает дольше, чем живет», а «в светлое завтра» везет себя в инвалидной коляске.

Он с болью осознавал, что для России он «не свой - чужой». И в ней он «защищает от себя других - каждый день, каждый миг». Он рано прозрел, что «нас ведь нет для страны», что «мы для общества - прах, горстка стылой золы». Нас «не враги, так свои зашибут самосудом», а «свобода добьет безразличием злым: не забвеньем глухим, так горячкою белой».

Заглянув «за край и дальше края», поэт прокричал своему народу, что уже «с гармонией идет плечом к плечу жестокость мировая». И грядут времена, когда «любовь навечно отомрет и предрассудком станет жалость», когда изживут себя и такие слова, как «надежда, счастье, дым печали», потому что мы уже давно «смертельно больны тяжелейшей формой безлюбья».

Потому с криком в душе, с болью в сердце и уже из последних сил он пишет:

*Я на последнем перекрестке
Встаю сегодня в полный рост:
Солдатом, ээком и поэтом...*

И в который раз он задает уже ставший риторическим вопрос: «Так что ж, страна, все эти годы было?..» Он не без слез на глазах и не без обиды в сердце допытывался у Родины: «Сколько нас в рабы отдано? Сколько нас в бегах брошено, в месиво войны, в крошево?»

В ответ - «молчанье душ, запекшихся от боли». И озноб по коже, когда подумаешь: «Так много крови пролилось, чтоб ничего не изменилось».

*Ожегся на милом.
Согрелся на стылом
Душою земною.
А что это было?
А с кем это было?
Со мною. Со мною...*

И вот такую «чужую, родимую землю за всё до удушья, до спазм он, любя, ненавидел» всю свою жизнь. И в конце пути, осмысливая его, он напишет, что «впитал, вдыхал ужас малых родин, чтоб навсегда одной большой страдать». В том-то и заключается его жизненная трагедия, что

*Поэт - глашатай высшей воли.
Всё, что вверялось лично мне,
Я говорил по Божьей воле
Глухой бесчувственной стране...*

Он, «гонимый и клятый, с судьбой беглеца» через «облавы, расправы и потери по дальней дороге», нес в себе «людскую неволю и волю господнюю». Он нес «в груди свой век - его радость нес, его гадость, его нежность, горячность и сладость». Считал по наивности, что вот уже стоит «у достигнутой цели», а оказалось, застыл «у бездны». Оказалось, что в «двадцатом веке он идет по нравственному запустению».

Он рано устал «от притворной общественной спячки, от пророчащих в белой горячке», «от мерзости, что жрет народный хлеб». Он и сам был «болен невежеством века и был здоров вечной его глупостью», потому что

*Одна эпоха. И судьба одна.
Ты болен тем же самым,
Чем страна...*

Уж если кого и жаль было ему в этой жизни, то не человечество, а исключительно человека: «Народ опасен. Человек прекрасен...».

*Разор, разбой, усталость.
Взглянул в себя.
Там больше нет раба.
Но Человека
Тоже не осталось...
И дальше:
«Куда мы шли,
Куда нас завели?!» -
Заплакала. Жива душа-калека...
Шаг первый мой -*

*Земного Человека.
Последний шаг -
Ничтожества земли...*

Поэт, помня о том, что, «творя историю свою, ему правда разрывала вены», просит своих современников «однобоко его не судить», хотя бы потому, что к концу пути от него «не море лжи» осталось, а «две капли боли праведной».

В стихах Михаила Сопина обостренно пульсировала его личная жизнь и также болезненно и напряженно жизнь его современников во всех её самых светлых и трагических проявлениях.

Он был из плеяды тех русских поэтов, которые «не боялись взять с собой читателя на вершины бытия, обнажить перед ним сердце и душу».

О себе и о таких людях, как он сам, Михаил Сопин в предисловии к своей последней книге «Молитвы времени разлома» написал так: «Мы входили в мир без идеологических шор и уходим из жизни без политических иллюзий... рано или поздно, при мне это произойдет или без меня, если ненависть способна заплакать покаянными слезами, Родина неизбежно обретет человеческий облик. Так думаю. Над этим работаю».

Так он думал и так работал.

Это правда. Как правда и всё то, что выражено в изданных им книгах: «Предвостный свет», «Судьбы моей поле», «Смещение», «Обугленные веком», «Свобода - тягостная ноша».

Он и на литературном вечере в филармонии, словно предчувствуя свою кончину, обращался к читателям страстно и взывал к ним молитвенно, своим примером поддерживал тех из них, кто готов вместе с ним с чистой совестью предъявлять счета не только себе, но от имени поколения и эпохе.

Теперь уже строки, прочитанные им со сцены, звучат как завещание всем нам - его друзьям-единомышленникам и его верным читателям:

*Нету на земле таких идей,
Чтобы ради них губить людей.
Помни, твое имя - человек.
Не ссылайся на жестокий век...
Признался он и в любви к земле:
Всё ж выпало мне
Вселенское счастье -
Родиться
В такой величайшей стране!..*

Михаил Сопин, пройдя через все испытания времени, остался верен себе и ни одной поэтической строчкой не покривил душой перед Богом и перед людьми...

ВЯЧЕСЛАВ ХЛЕБОВ:

«А Я - БОЛЬШОЙ РЕКИ НАЧАЛО...»

Вячеслав Хлебов старше меня на четырнадцать лет. Он родился накануне войны, а я через восемь лет после Победы. Но так случилось, что наши творческие судьбы однажды пересеклись в издательстве «Вестник» под надежным и сильным крылом прекрасного русского поэта Виктора Кортаева.

Потому я считаю его человеком из моего поколения. Да и сам он одну из своих книг подписал мне так: «Для воспоминаний о нашем творческом пути». Не часто, но мы с ним встречались и, как правило, в обществе нашего учителя и покровителя.

Вячеслав был мне понятен и близок еще и потому, что родом он из шекснинской деревни. Его жизненный путь типичен для людей нашего поколения. Вот скудные строки из его биографии: трудиться начал в колхозе, после армии работал электромонтёром по электрификации сельского хозяйства, а потом на Череповецком металлургическом комбинате - огнеупорщиком, монтажником-высотником и председателем профсоюзного комитета треста «Череповецстальконструкция».

Слава Хлебов был человеком добрым. Имел зоркий взгляд, беспокойную душу и мудрое сердце. Мы с ним познакомились еще на областных семинарах литераторов, а ближе сошлись тогда, когда Виктор Вениаминович готовил к изданию наши первые книги - мои «Венцы» (1992 г.) и его «Собрание ослов» (1992 г.).

К каждой из них он написал предисловие-напутствие.

Представляя творения Хлебова, он отмечал: «Басни его, как и подобает этому классическому жанру, всегда живописны, остры и целенаправленны. В них бичуются как извечные человеческие пороки, так и социальные безобразия и уродства общества в целом. На фоне современного живейшего и острейшего движения мысли работа Хлебова выглядит, к счастью, не запоздалой или утратившей злободневность, а как раз наоборот - попадающей, что называется, в струю, в слой».

Эта традиция идет от Крылова. Не побоюсь сказать, что у Хлебова такая же «крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум». Да он именно таким и запомнился мне по жизни - основательным и мудрым.

Лопух и Укроп

Лопух, к Укропу наклонясь, спросил:

- За что ты так хозяйке мил?

Всегда содержишься в порядке.

Удобен и растешь на грядке.

Тебе вниманье каждый день.

А я, как видишь, врос в плетень.

Мне от хозяйки ласки нет

С тех пор, как я увидел свет.

А проходя недавно рядом,

Меня сверлила жутким взглядом

И вместо имени со вздохом

Обозвала чертополохом.

- Да, нелегко тебе, сосед.

Сказал ему Укроп в ответ.

И, помолчав, изрек любезно:

- Жизнь ценит то, что ей полезно.

В моей библиотеке четыре его сборника, а всего их при жизни он успел выпустить пять.

Волею судьбы его творческая активность пришлась на годы очередной российской смуты - безумные 90-е годы, когда все мы жили с ощущением большой беды. И каждый из нас, по-своему переживая нагрянувшие перемены, с тревогой, а порой и с ужасом всматривался в грядущие времена, окрашенные в тягостные мистические тона и отмеченные знаменами от пророчеств Иоанна Богослова.

Одни, отказавшись от ценностей духовных, слепо уверовали в силу денег и с головой ушли в торговый бизнес. Другие, потеряв в жизни привычную стабильность и нравственную опору, тихо и шумно в печальных и разгульных застольях оплакивали гибель великой державы, крушение социалистических идеалов, а с ними и своих собственных судеб. Третьи будто оцепенели от вздыбленной эпохи, готовой гибельно разрешиться «слепым и беспощадным русским бунтом», и ждали конца света, не теряя при этом, как и всегда, надежды на лучшее и по возможности приспособляваясь к жестоким порядкам бездушного и дикого рынка.

Вячеслав Хлебов был из тех русских людей, кто и в новой жизни не растерялся и кто не сидел сложа руки, а, как мог, сопротивлялся всему, что подтачивало основы русской жизни и разрушало естественную среду нашего обитания.

Может, поэтому в своих баснях он постоянно и равно обращался к трём болевым темам: взаимоотношениям человека с природой, махровому бюрократизму равнодушной к народу власти и заурядному российскому пьянству.

Теперь, перечитав все его сборники, я вдруг понял, что именно в басне, а ни в каком другом жанре можно было в те «лихие и губительные» для России годы наотмашь хлестать по сытым щекам зажавшихся бюрократов, прицельно разить укоренившиеся в людях пороки, беспощадно вскрывать и безжалостно обнажать язвы современной ему жизни.

Именно через басню, как мне показалось, и могло только происходить тогда горькое отрезвление и своеобразное духовное очищение русских людей, не до конца еще потерявших в этом «безумном, безумном, безумном мире»...

Вячеслав Хлебов видел, как человек всё дальше и дальше отдаляется не только от природы, окружающей его, но уже всерьёз изменяет и природе собственной. Впрочем, эти процессы органично связаны между собой: «Природа к тем всегда сурова, кому чужда её основа».

И могло ли быть иначе, если все мы погрязли в грехах и бесконтрольно в погоне за выгодой и внешним благополучием потеряли нравственные ориентиры?

Поглядишь по сторонам и поневоле вспомнишь Николая Васильевича Гоголя, который еще 160 лет назад так написал о прогрессе и состоянии русского духа: «Мы, со всеми нашими огромными средствами и орудиями к совершенствованию, с опытами всех веков - со всеми этими орудиями, умели дойти до какого-то неращества и неустройства как внешнего, так и внутреннего...».

Как будто про наше время написано!

Он же, погруженный в думы о своем веке, пришел однажды к такому неутешительному для себя и для нас выводу: «Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже всё поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости».

И тогда, во времена Гоголя, нужно было иметь мужество, и ныне тоже обладать крепкими нервами, чтобы отважиться показать на фоне современной жизни всю ничтожность человека, опустившегося почти до уровня животного существования.

Вячеслав Хлебов на такой шаг решился.

Ему выпало счастье наблюдать мир и человека в нём «в его минуты роковые». Он нашел в себе силы внимательно и пристрастно взглянуть в «испитое и припухшее» лицо настоящего и опять не без дрожи увидеть, что в нём, как и в прошлые столетия, «иное горестно и грустно, другое просто гадко, или же делается не так, как бы нам хотелось». А ведь если «попристальнее взглянуть в настоящее, будущее вдруг выступит само собою» (Гоголь).

Каким оно «выступит», будущее наших внуков, и каким его сегодня увидит равнодушное сердце современника, сказать не берусь, но думаю, что жить нашим потомкам тоже будет не сладко. Им придется платить по векселям, которые уже и нам всё чаще предъявляет природа, страдающая от технического прогресса и от нашего с вами равнодушия.

Не получается пока у человека равноправного и уважительного диалога с природой, частью которой он является и сам. Но об этом он, к сожалению, уже давно не думает и не вспоминает. Всё норовит богатства у природы взять силой и при этом еще имеет наглость рассчитывать на «милость её».

Вот и «хиреет без навоза» поле, а навоз бесхозно стекает в озеро. И как понять трудолюбивому крестьянину, ещё не потерявшему стыд, что «земли полно, а хлеба нет». Уже и великая река Волга жалуется плывущему по ней теплоходу, что люди «не слышат её стон», потому что «и совесть и закон безмолвствуют».

«Стыд - что стало с природой! - не сдерживает гнева Хлебов, - лес извели, канав нарыли». Уже «тошно стало и чертям» от металлолома, которого так много разбросано вокруг сел, примыкающих к городам. Уже и зной, выжигающий дуга и чащобы, и дожди, заливающие землю, преподносят зверям «недолю» и озлобляют их друг против друга.

Смотришь на все эти безобразия и с болью думаешь, что «беда неминуема там, где разрушается среда», и страшно становится, когда «невежды и глупцы вторгаются в устав природы».

Понять непросто, чья вина.

Коль заблудилась вся страна...

Потому-то, может, и персонажи басен Вячеслава Хлебова - свиньи и бараны, зайцы и лисы, медведи и волки, псы и шакалы, вши и блохи, галки и вороны - воспринимаются нами уже воистину как люди, в них превратившиеся. У каждого животного и птицы, гада и насекомого уже не свои, а узнаваемые черты крупных



Вячеслав ХЛЕБОВ

и мелких людских характеров, высоких и низких проявлений нашей человеческой натуры.

Не знаю, хотел ли баснописец «собрать в одну кучу всё дурное в России», но так уж получилось у него. Он не суд над нами вершит, он приглашает нас на его заседание в качестве присяжных для слушания по делу чрезвычайной важности...

Суд над Бараном

*В одном дворе стряслось такое:
Забьли все про жизнь в покое.
А был виною всех страданий
И общим злом разгул бараний.
Чтоб жизнь избавить от изъяна,
Решили все:
- Судить Барана!
И двор, их место заседаний,
Был полон гневоизлияний.
Свинья визжала:
- Изверг он!
- Убить! - неслоь со всех сторон.
Петух орал, ругал нахала.
Корова, как всегда, мычала.
Гроза детей Гусак Гусиных
Шипел, как будто Змей Горыныч.
Но был особо гневно-зол
Вонючий дядюшка Козел.
Пёс, взвесив коллектива мненье,
Такое сделал заключение:
- Напрасен суд и ваши речи.
Ведь глупых критика не лечит.
Среди животных в мире данном
Баран обязан быть Бараном.*

И так, что ни басня, то живая картинка из жизни обитателей российских сёл и деревень, больших и маленьких городов.

«Кот немало тварей съел. Жир и лень в Коте сроднились, оттого над ним глумились», «где появляется Козёл, там зелень вскоре исчезает», «живёт неважно Конь-трудяга. Зато Барана зам - Козёл - имеет всё: и власть, и блага».

Вот «Свинья завизжала спросонок», не найдя в доме ни мужа, ни сына, а они, сердешные, с вечера хмельные на пару «в луже лежат». Побывав на юбилее Пса, баснописец лишний раз убедился в том, что «черта такая нам дана - пить до умопомрачения». Потому и «сорняки ликуют и не дремлют» там, «где любят пьянствовать и спать». Потому и «бездействие власти нетрудно понять - непьющим народом сложнее управлять».

Его басни так злободневны и остры, а персонажи так узнаваемы, что и в поступках, и в диалогах, и в сердечных их движениях предстаёт перед нами во всём разнообразии своих характеров правдивый срез большого общества современной России - от президента до бомжа.

Сюжеты для басен Вячеслав Хлебов искусно извлекает из наших скучных будней и праздников по поводу и без.

«Дряхлый Пёс не страшен вору», «Волк видел взятку наяву: Шакалы Псу купюру дали», «Козёл Овечке подмигнул, Баран вскипел, того боднул и обозвал при всех болваном», «для Коз хорощий веник лучше роз», «настроен злобно к Соловью Комар, себя большим певцом считая», «там Баран и Осёл строят Буйволу дом», «Петух хороший ухаждёр, но воспитатель никудышный».

Мы уже узнаём в персонажах басен и самих себя, и соседей по дому, и тех, кого встречаем на улицах и в магазинах, в государственных учреждениях и коридорах «народной» власти. Мы видим их ежедневно на экранах телевизоров и читаем о них в многочисленных газетах и журналах. Узнаем, потому что они «и мыслят, и поступают слишком по-русски». Узнаем и потому, что «кроме верного звериного сходства», они еще отвратительно ярко обнажают через себя и все присущие нам пороки и недостатки, и вообще - нашу противоречивую и переимчивую русскую природу. У него так же, как и в баснях Крылова, «всюду Русь и пахнет Русью» (Гоголь).

Долг и старость

Покинул Кот родной очаг,
 Жену, котят - незрячих крошек.
 Ушел на поиск новых благ,
 Любить других красивых кошек.
 Пока был молод и силен,
 Имел в любви успех и славу,
 А Кошка, забыв про сон,
 Кормила, мучаясь, ораву.
 Уча в нужде котят уму,
 Трудясь и в праздники, и в будни,
 Своим трудом, назло всему,
 Сумела вывести их в люди.
 А у отца сменился вид,
 Отняли блеск и силы годы.
 Он был любимыми забыт,
 Спал где попаю, ел отходы.
 Нуждой и старостью гоним,
 Решил к семье вернуться снова.
 Принес свои печали к ним
 И стал просить куска и крова.
 Мяукал:
 - Трудно одному.
 Согрейте, наделите паем.
 Но был один ответ ему:
 - Покиньте нас, мы вас не знаем.

*В любви всегда несчастен тот,
 Кто ней относится как кот.*

А разве не нынешние бомжи стали, например, прототипами этих пернатых персонажей: «Ворон и галок много там, где много свалок...». Или вот этот сюжет, взятый из хроник последнего времени, - разве он не напоминает о событиях близкого нам политической истории:

*Кабан ушел с поста до срока,
 И без борьбы в один из дней
 Глупец-Шакал по воле рока
 Стал предводителем зверей...*

А вот еще одна примета трагико-комедийной эпохи: собрался Шарик у столба «облегчить участь живота», да не тут-то было. Сидящий у столба Бульдог строго одернул его и по-хамски напомнил, что на дворе другое время, и теперь он «должен что-то дать за это».

А кого, если не нас с вами, напоминает Медведь времён перестройки. Желая идти «со всеми в ногу», он слепо взялся «перестраивать берлогу», чтобы в конце концов разрушить и потерять её.

Или не знакома нам борьба с разросшимся чиновничьим аппаратом? Время от времени власть объявляет народу о безжалостном его сокращении (как правило, на одну треть). А на поверку через некоторое время снова «возобладала гладь и тишь - в итоге сократили Мышь».

Или не знаем мы такого чиновника, который, как Пёс из басни, «делал всё не так, как надо, а так, как требовала власть».

Прав Виктор Коротаев: у Хлебова что ни басня, то «общезначимая социальная мысль, необходимая сегодня, острая, деловая. Точность наблюдений, продуманность сюжета, краткость в лучших вещах представляют Вячеслава Хлебова самостоятельным мыслящим и достаточно опытным автором».

В своих баснях он оставил нам много строк, которые в будущем вполне могут стать заповедями или заготовками для пословиц и поговорок.

*Тот ума имеет мало,
 Кто кричит, что он умён...*

*Краток путь у дурака
 От мозгов до языка...*

*Когда законы не в порядке,
Умы рождают мысль о взятке...*

*Боль незначительных укусов
Пугает слабаков и трусов...*

*Добыча часто достаётся
Не тем, кто за неё дерётся...*

*У слухов дивная природа:
Растут в любое время года...*

*Немало доблестных мужчин
Погрязло в дебрях дармовщин...*

*Ёрш видел благо в червячке,
А оказался на крючке...*

*Живется лучше там всегда,
Где власть законна и тверда...*

*Там у людей горька судьба,
Где Бога нет, а власть слаба...*

Да, баснописец - человек уникальный, обладающий редким талантом.

Я счастлив, что рядом со мной такой человек жил и творил. Жаль, что его уже рядом нет, но хорошо, что остались книги, в которых он сумел ярко и самобытно сказать свое слово о времени, о себе и о нас.

Конечно, его надо было беречь и всячески поддерживать и при жизни еще не скупиться на доброе и участливое слово. При жизни я сказать ему свое слово не успел, говорю его теперь и благодарю судьбу за редкие, но радостные и веселые встречи с красивым русским человеком...

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ: «ПОВЕРЬТЕ МНЕ, ЗДЕСЬ НЕТ НИ КАПЛИ ЛЖИ...»

Алексей Васильев появился на вологодской земле, как в своё время «неожиданно и жданно» появились на ней многие ныне известные российские поэты и писатели: Ольга Фокина, Виктор Астафьев, Юрий Леднев, Михаил Сопин, Геннадий Сазонов и другие. Правда, он приехал на Вологодчину уже к концу своей жизни, заявил себя на ней после того, как досыта поскитался по белому свету.

Он родился в Москве, был кадровым военным, а доживать отпущенные Богом дни почему-то приехал в Устюжну, где он, по его словам, «сформировался как личность». Понятно, что просто так не приехал бы - значит, судьба так «поставила».

*Как измученный странник,
К ручью прикипевший губами,
Оторвать не умеет иссушенных жаждою губ,
Так земле своих предков,
Припав к ней, как к старенькой маме,
Я однажды скажу, что уже без неё не могу...*

Мы с ним, слава Богу, успели еще пообщаться при жизни - и в Устюжне, и в Вологде. Хороший и весёлый он был человек, красивый, общительный и щедрый. Издалека он к нам приехал, ох, из какого ещё далёкого далека, многим из нас даже и неведомого:

*Из краев,
Где ветер пахнет хлебом,
С неизбывной жаждою творить,
Я явился под якутским небом
Русскими стихами говорить...*

Мир его души был бесконечным, как Вселенная. Он был и «ростом до звёзд, чтобы вровень быть с веком». Он и считал себя «сыном веков» и представлялся людям «фантазёром и практиком», который и «жил как придётся, и делал, что велют».

Он жил и хорошо чувствовал пространство мира, в котором «хлеб косил, штурмовал и мёрз».

А жил он как поэт в самой гуще мира, потому что он был не на обочине его, а в самом центре, если не сказать, что он и был центром грешного мира. От своего сердца он начинал и счёт верстам поэтической судьбы: «Три тыщи верст - китайская граница, две тыщи верст - великий океан».

Он «молодым вкусил бесконечных просторов», и потому журавли «постоянно трубили ему дорогу».

Я на плотине,

Легкий синий ветер

Летит с верховьев

На заливках волн...

Он был человеком «от земли» и понимал, что «за счастье нужно драться», даже если ты хочешь совсем «простого счастья». Он был русским человеком, и потому вопрос: «Что делать?» - не давал ему покоя ни на час. Он, как никто другой, понимал, что «наша вера стоит нашей жизни».

Он говорил о вере православной.

Он спрашивал у битого-перебитого жизнью пса: «Не надоело жить, скитаясь, в тревоге вечной и борьбе?» Спрашивал и сам же, вслушиваясь в молчание брата меньшего, угадывал в нём честный ответ: «Не надоело». Угадывал ответ и слышал знаковый вопрос, обращенный уже к нему: «А тебе?»

Не знаю, сколько раз Алексей Васильев задавал себе этот вечный для русского скитальца вопрос, но думаю, что часто. Уверен, что отвечал он на него так же, как и верный хозяину пёс: «Не надоело...»

Да и как может она надоесть, жизнь, когда каждый её божественный день в его земной жизни «космато ломился сквозь тайгу и начинал новую поэму».

У Алексея Васильева была одна неизлечимая болезнь «с названием жизнь». Как хорошо, заметьте, и точно сказано.

Мы - добрые.

Мы искренне простые.

И может, в этом

Наша красота?..

Потому он и принимал «жизнь такой, какой она дана» была ему Богом. А у него она была такой непредсказуемой, как и у всех нас, однажды имевших счастье родиться в непредсказуемой России. В этой жизни у него, по его же признанию, с самого начала всё вдруг

...пошло, поехало, помчалось...

Дробил камень, просеки рубил.

Мёрз на снегу,

Но что бы ни случалось,

Я жизнь любил

И Родину любил...

На извечный шекспировский вопрос: «Быть или не быть?» - он отвечал по-граждански категорично: «Быть!»

Он был сыном отца, победившего в революции 1917 года. И воспитанный им и вдохновленный революционной эпохой, Алексей Васильев даже в «разломную и смутную пору» писал:

Мы прём.

Передовые всех времён...

С лопатю.

Кувалдою и ломом.

С обрывками

Корчагинских знамён...

Это его мускулистый характер, неуживчивый и взрывной. Это его характер, которому «покоя нет, покуда в сердце сила». Это в его характере крикнуть во всю ивановскую: «Время, стой! Пересохло в горле». По характеру он мне напоминает неуёмного Михаила Сопина. Это было их время. Это был «век ядра и стихов».

Алексей Васильев был из корчагинских рядов, закалённых сталью первых коммунистических субботников и стахановских пятилеток.

«Бритый и лохматый», он даже «на окраине России, в глуши, открытой семи ветрам», погружаясь в полярный день, был не только свидетелем, но и участником самых жестоких и неотвратимых событий, после которых долго в жизни всё приходило в себя и долго всё по местам «укладывалось».

Он чувствовал болевое время двадцатого столетия, и себя тоже он чувствовал в нём болезненно и тревожно.

*Сколько их на России моей
По Шексне, Енисею, по Лене
Позаброшенных Богом людей,
Позабывтых людьми деревенок...*

Он еще в школе, читая Чернышевского, «слышал этапный и гиблый, продутый и замороженный до дна кандалный звон».

Когда «три кита», державшие планету, «ушли», и Земля грузно «легла и на его плечи тоже», он без страховки стал погружаться в российскую бездну, «глубина которой раскрывалась» ему уже в нашу безумную эпоху.

Он видел сам, как его страна из «низины ползла на брюхе» на каменистые вершины мирового пространства, пропахшего тленом и деньгами, и как она утверждала перед «загнивающим Западом» свою русскую самобытность и неповторимость.

Он рано начал мыслить категориями российского масштаба.

*Якутия. По ней брести -
на сотню верст не сыщешь станций.
Она одна в себя вместит
Сто Бельгий
Или же шесть Франций...*

Да, он «как художник открывал» для себя и для мира «Якутск, в туманный мех одетую столицу». Он открывал для себя и смысл великой революции, без которой он мог и не вознестись на поэтический олимп.

Россия «была у него в груди». Она - это «всё, что клялось, лгало и отрекалось, всё, что позади и впереди». Такая она у него - Россия. Она и «царская невеста», она и «нищая, оборванная рвань».

Это потом, видя, что происходит в мире с его любимой Россией, он с горечью для себя и своего поколения осознал, что у него вчера была страна, в которой он по-своему был счастлив. У него была страна, которой уже никогда на Земле не будет. У него была страна, которую уже не знают его внуки и даже не понимают, как он в ней жил и существовал.

А им, внукам и правнукам, действительно уже не понять их деда, «старого, бородатого и доброго грешника», который в жизни был «автором многих чудес», и как он был счастлив от того, что ему в жизни было всегда «трудно», когда

*Скалой и солнцем всё во мне пропахло...
Забыл перо.
Осваиваю лом.
И за день
Солью ставшая рубаха
Стоит у койки
Высохшим колом...*

Он тоже был в великой стране «подопытным» из отряда «первопроходцев», но видел, как следом за ними шли еще и «первопроходимцы». И, похоже, в жизни нашей их осталось больше. Они по-прежнему на виду и открыто правят балом на просторах земли российской. Он много чего видел и много чего понял, прежде чем написать и вот эти проникновенные строки:

*Ужели же отсюда-то извне
Нам вышел знак,
Погибельный и странный, -
Гореть в самоубийственном огне,
Являя опыт временам и странам?..*

Ему жизнь на Руси «дала всё полной мерой». На просторах сибирских он понял, что всё в жизни «идёт по высокому плану и по божественной тайне». И каждый шаг его в жизни отмерен Богом, и каждый дождь, пролившийся над землей, Богом благословлен, и каждое слово, написанное им, Богом освящено.

Он понял, как важно, чтобы в жизни у него всегда были «надежда, солнце, мама». И чтобы обязательно - любимая женщина.

Он не мог оставаться равнодушным, когда в начале девяностых «выводили на расстрел - время».

Он, зная «в слове толк и в деле прок», истоптал по земле российской не одну пару сапог, прежде чем понял, что он уже никогда не сможет на земле «жить спокойнее других», потому что ему на ней «разрешают жить только тяжелее». А и можно ли было ему жить легко и спокойно, если он постоянно в себя, «как в рюкзаке, грузил чью-то чужую боль»?

А мало ли её на Руси было и есть, неизбывной человеческой боли?!

Его друзьями были «небо, крутые дороги и люди России». Он знал, в каком «котловане» рождалась советская «двенадцатая фабрика». Его современники знают, о какой такой фабрике он говорил. Но знают только его современники, потому что это было и роковое время.

Алексей Васильев создал свой образ России, «жить в которой было здорово!» не только ему, но и всем нам, родившимся после войны. Для него Россия - это «небо синее, как косынка, и утро звонкое, словно сосны». Это «дым над трубой и сугробы у забора».

И тишина. И глаза любимой женщины, в которых «две весёлые звезды» и «две слезинки, словно два огромных солнца».

Потому и в морозной России ему всегда было тепло. И сам он в ней был похож на «большую птицу», которая никогда «не отряхивала с крыльев синеву» вселенского неба.

Он до конца дней своих был молод, потому что всегда видел, как у девчонок «под кофточкой трепещут, бьются голуби», когда их «голые руки взлетают над ситцами» в рассрочку купленных платьев...

*Когда рассвет глубокой синевой
Твои глаза для счастья прополощет,
Сирень нахлынет тучей грозовой,
А тополя захлопают в ладоши.
Я радостно и громко закричу:
«Плати мне тем, чем я тебе плачу...»*

У него с жизнью любовь всегда была взаимной.

Жаль, очень жаль, что он - «большое солнце маленькой Земли» - так рано осиротил нашу русскую землю, трагически богатую на звёздные поэтические судьбы.

Ведь и сам он писал, что «через годы русский народ стихи его вознесёт до неба» и «заставит нас вслушиваться в Вечность». Сам он с детства слышал «голос из галактик», когда «касался уха матери-земли». Его слово тоже «пахнет росой и сеном».

У поэта и душа была космическая, потому что она «живёт на белом свете не короткий век, а все века».

*И вдруг по ним,
По этой млечной карте,
Высоким светом
Озарив тайгу,
Промчался спутник,
Как торпедный катер,
Расплёскивая
Звёздную шугу...*

Я благодарен поэту за то, что он «не лгал», когда в краях, где «без конца и края тайга», «сочинял стихи кувалдой и песни ломом сочинял».

И за то я благодарен ему, что не без его, поэта, участия «на дедине и отчине его» и сегодня идёт на земле «бессонная работа трав, деревьев, солнца и цветов» и каждый год «осень колдует листьями».

А я вижу, как «с приполярной земли поднимается к звёздам самолёт...»

А я верю, что он обязательно донесёт его в недосыгаемые для земного грешника райские кущи, еще при жизни созданные им в своих стихах...

О поэтах он написал так:

*Они уходят от людей
и оставляют сердце людям...*

Он именно из этих поэтов, которые, уходя, «оставляют сердце людям...»

Я верю, что слово, ответственно сказанное поэтом Алексеем Васильевым от имени устюженской земли, время сохранит «в камне, в песнях и в строчке из газет...»

Пусть и моё слово о нём тоже будет камешком в основание его небесного памятника...

СЕРГЕЙ ЧУХИН: «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ НА КРУГИ СВОЯ...»

1. «Под рубцовской звездой полевою...»

Он жил открыто, «с ощущением жизни на краю» и без страха, жил взахлёб, «настроив душу на добро», не оглядываясь по сторонам и не думая об опасностях, которые могли подстергать его и в центре жизни, и на её обочинах. Он спешил жить в полный рост и с радостью отдавался жизни во всех её проявлениях, понимая, что «вечности у него в запасе нет».

Общаясь с ним и читая его стихи, меня не покидало тревожное чувство, как будто не сегодня-завтра с ним должно было случиться что-то непоправимое. Такое же чувство я испытывал при встречах с поэтом Николаем Фокиным.

Сергей Чухин по-детски радовался жизни и каждому новому дню, но даже в солнечную погоду его незримо накрывала трагическая тень, но он не замечал её, продолжал жить нараспашку и каждым прожитым днем приближал час неизбежной роковой развязки. И она в «неприбранной его судьбе» наступила...

Сегодня 12 октября 2008 года. Уже двадцать три года, как его нет рядом с нами. Сколько он мог бы за это время написать!

Сергей Чухин погиб тогда, когда, по мнению Василия Оботурова, уже «намечался его естественный выход из-под влияния Николая Рубцова» и когда он постепенно, «преодолевая его», стал «возвращается к себе настоящему».

Пишу об этом, потому что дружба с Николаем Рубцовым была для Сергея Чухина не только божественным даром, но и большим испытанием. По душе и по мироощущению они были «родственны и близки» (оказалось, что и по судьбе похожи).

Попасть под влияние старшего товарища было легко и вполне естественно. Тогда-то он, может быть, и ощутил на себе и понял, как не только в жизни, но и в делах поэтических «непросто быть самим собой» и как мучительно трудно на пути к себе именно «искать себя, искать себя».

*Наша юность росла
Под рубцовской звездой полевою,
Что светила призывно
Для вечно блуждающих нас...*

Кто из нас в поисках своего голоса не попадал под влияние того или иного поэта, близкого по духу, и сколько нас, к сожалению, так и не сумели от него навсегда освободиться?

Сергей Чухин преодолеть его смог, хотя и ему, наверное, сделать это было непросто. Он со свойственной ему искренностью признавался, что работа над стихами - это только «порой сладкий труд», а чаще - пожизненная «каторга» в поисках того, «чего никто не знает».

Но, повторяю, он смог. Он сумел, как отметил Виктор Коротаев в предисловии к книге «Придорожные камни», «вовремя и благополучно обрести собственный голос». А смог он потому, что от природы имел «серьезный творческий потенциал, без которого вряд ли могла состояться самобытная поэтическая личность...».

Не это ли рубежное для себя состояние он и хотел передать вот в этих весьма символических строках:

*И не схожу я, как думают, с круга,
А возвращаюсь на круги своя...*

Позже, опираясь на свой собственный поэтический опыт, Сергей Чухин в обзорах стихов молодых авторов, которые он готовил для газеты «Вологодский комсомолец», писал: «Глубокая поэтическая мысль должна предшествовать воплощению её в образах. Когда она будет нова сама по себе, найдутся и новые образы, и даже старые поэтические метафоры приобретут первоначальный блеск. Такова одна из основных заповедей творческого процесса».

А еще он напутствовал начинающих литераторов такими словами:

*Но и при шуме ветра злого,
Когда и тяжело, и темно,
Пиши, мой друг, как будто слово
Тебе
Последнее
Дано...*

2. «Пускай со мной душа моя умрёт...»

В стихах самого Сергея Чухина я чувствую живую и нежную душу, на которую по-родственному - с радостью и грустью - откликаются души его современников, в том числе и моя душа.

«Поэзия Сергея Чухина, - отмечает критик Виктор Бараков, - это прежде всего прекрасные пейзажи, бытовые сценки. Его стихи отличаются строгостью композиционного построения, умелым использованием разговорного языка, тщательной отделкой строки. Голос его - чистый и свежий - поражает своей душевной открытостью, отзывчивостью, незащищенностью...»

Во всем согласен с Виктором Николаевичем, кроме одного: стихи Сергея Чухина не «только прекрасные пейзажи и бытовые сценки», они еще и проникновенная лирико-философская исповедь человека второй половины двадцатого века.

Для меня он поэт русской души - «открытой, отзывчивой, незащищенной». После шумного и бесполового дня его «бедная совесть сжималась в комочек», а душа требовала обманчивой тишины. В такие минуты он хотел остаться наедине с «чистой страницей», чтобы «поймать мгновение в сети строчек».

Приду домой, присяду у дверей.

Возьму перо и книжку записную...

Только наедине с собой и с листом бумаги он мог не спеша «вглядеться в жизнь», а он всегда «глядел ей в лицо открыто». Той «жизни, которой был болен». Той «живой жизни», что была «вольна, как заовинный ветер», и которую он бесконечно любил («Жить охота, и петь охота!»).

Он даже был благодарен ей за то, что она «не лила за воротник елею», заставляла «взрослеть на собственных ошибках» и извлекать из них уроки, помня о том, что «в мире все живут своей бедой». А ошибок он совершал много, досадных, глупых, чаще по неразумению. Он честно признавался, что «польжизни прожил, не умея жить». Может, к концу жизни он только и почувствовал, как «жизни тающая река открывает подводные камни». Пожалуй, так оно и было.

Его «душа старалась навек запечатлеть» всё - и в жизни, и в природе.

Он понимал, что «жизнь, не наполненная новью, для души опасна», особенно, если она замыкается «в склеповой тиши».

Он переживал за человека, продолжающего «покорять дикую природу» («как бы нам самим не одичать»). Он, посвятивший природе столько поэтических гимнов, с болью замечал:

Застойные реки не льются.

Болотам и клюкве конец.

И ласточки что-то не вьются

У наших богатых крылец...



Сергей ЧУХИН

Он помнит, когда «реки были рыбными, леса - грибными, птицы - певчими». Ему становилось страшно и за людей, и за себя, когда он видел «на месте быстрой речки - гниль и сырость, на месте пахоты - ольховый черный лес».

Всё та река стоит перед глазами,

Как в страшной сказке, с мертвою водой...

Он помнит, когда был «на побегушках у розовых волнушек». Поэт не мог забыть, как ему «вослед голубыми глазами младенца глядели незабудки». Ему становилось страшно за душу человеческую, когда от неё веяло на него холодом, когда он видел, что из общего колодца «каждый дом достает воду своим ведром». Уж сколько всего святого, чем дорожили наши предки, мы «слепо и устало ногами втоптали в грязь». А ведь только человек с чистой и доброй душой может быть «в ответе не только за будущий день, но и за прошлое тоже».

В жизни он следовал заветам Александра Яшина и «спешил делать добрые дела». К чему ненавязчиво и без морализаторства подвигал и своих читателей:

Подумай о своей судьбе...

Не для анкет, а всё ж

Себе ответь,

Ответь себе,

Зачем и как живешь.

И знай, что не обманешь смерть -

Она тебя сильнее, -

Коль не сумеешь разглядеть

Цветок среди полей...

Но с каждым годом он все острее и острее чувствовал, «что с реками вместе мелеют и души, и мысли» людей. Он приходит на погост и понимает, что опять же «не могилы зарастают, зарастает память и душа». С такой душой вряд ли мы, думая о жизни, сможем «её уготовить детям лучше, чем она была уготована нам». Ему и самому уже было «стыдно» перед природой за дела рук человеческих. Поэт сравнивает душу с рекой, которая, «зарастая камышом, обнажает донные камни», а по весне её «запущенное русло заливают полая вода».

Видя всё это, он живет, «волнуясь и спеша», и чувствует, как его «постарелая душа» уже «не рада порой и солнышку».

Может, в лесу испоганили

Светлый родник,

Или же в душах

Свои родники мы закрыли?..

Вопрос, согласитесь, для нашего времени совсем не риторический. Это, если хотите, вопрос нашей жизни и смерти. Как, впрочем, и этот вопрос тоже:

Кому они нужны, стихи,

Когда душа души боится?..

Поэт уверен, душам нашим нужны и «полезны сквозняки, чтобы не заткали их (души - **В.К.**) сытого довольства пауки». Стихи, конечно же, тоже нужны. Они «живут глубинно, как грехи, живут извечно, словно совесть», но всё равно среди людей у поэта «тревожно на душе, как будто рядом рыщут волки». Жульё пыталось и его душу «взломать, подбирая к ней разные отмычки». Вопросов у поэта и к себе, и к современникам становилось всё больше. Вот еще один - болевой: «По мирным ли орбитам летит зеленая земля?» Земля, на которой «жил бы вечно, всему удивляясь» и к которой «привязан, как птица к небу и как пахарь к полю». Он так «её любит, что даже жутко». Только любящее и тревожное сердце могло надиктовать поэту эти пронзительные строки:

И всему земному мирозданью,

Где цветет и золотится май,

Каждый день шепчу я: «До свиданья...»

Каждый день боюсь сказать: «Прощай...»

В своих стихах поэт пишет о том, что ему самому по душе и по мысли и что с детства кажется истинным и очевидным: «живя на белом свете, излучай добро и свет», и тогда будет «всё ладно, всё как надо, всё хорошо». Ведь «не хлебом единым жива и душа, и земля». Поэт уверен, что в делах и поступках тоже никто нас так пристрастно и строго не судит, как «мы сами судим о себе». Только в этом случае может «душа остаться чистой».

Когда у него залегала «на душе стужа и непогода», он «морозом выжатую душу оттаивал меж друзей» или уезжал в деревню, где «избы смолистые стены и живое тепло печки» ставили душу на место, и поэт снова оживал, начиная понимать,

что «на свете не все с непогодой прошло». Душа его снова взмывала «с новой силой и разрывала печальный круг».

И уж если «душа заходилась в крике», то он на время «откладывал перо». Успокоить душу могла только милосердная и животворящая природа. Только «птицам, солнечному лучу» поэт мог «доверить исцеление» своей души. Душа природы пока еще не помнила зла и откликнулась на «крик души» человеческой. Потому, «кочуя по родной земле», он, по его словам, «не зря в лесу и дневал, и ночевал».

Поэт «кланяется светлому снегу», потому что «снег - чистая душа небес». Он «благодарен» ему за то, что он «в январские морозы спасает собою поля, засеянные будущим хлебом». Кстати, «этим же снегом хранима от холода» и душа самого поэта. Для него и «снегирь на ветке - зимы румяная душа», и «жаворонок над равнинами» - душа полей.

Для него и «деревня - не лицо России, а душа».

3. «И жить с ноля часов...»

Для меня он был и поэтом тревожной ночи. Он и погиб около полуночи. Ночь была его любимым временем суток.

Дневная перевернута страница.

Мрак законный исчерна-лилов.

Давно все спят, и только мне не спится.

Мне дальше жить - и жить с ноля часов...

В это время и начиналась жизнь его уставшей за день души, «что тайно и трудно живет». Но не покоя она искала в тишине рабочего кабинета, нет, потому что «среди тишины и покоя как раз покоя-то и нет», как «не бывает покоя и на земле», на которой «дел не переделать».

«Душа поэта, которая всем видна», ждала своего часа, чтобы исповедоваться «перед черновиками среди недописанных строчек» и, «не зажигая огня», «переводить «все шорохи темноты на человечье косное наречье».

Душа поэта! Ей бы в скит,

Подальше от людских обид.

Но мне рассудок говорит:

Она б и там все тоже пела,

Она б и там за всех болела,

Как на небе за всех болит...

Нет, раньше ему «ночами спалось сладко». Ночные бденья у поэта начались «с ноля часов» после того, как он «через годы» узнал, что его мать в военное лихолетье «украдкой проплакала все ночи». С тех пор ему и «не спится». Ему так хотелось, чтобы теперь его бессонные ночи были ночами «сладкого сна» для его любимой матери: «Как-то, милая, спишься тебе?». Даже когда матери не спалось, он желал, чтобы только не снился ей «покойный отец» и не снились бы «беспутные дети». Он не спал сам и, когда ночь подходила к концу, сыновним сердцем чувствовал, что даже в «дождь полуночный, как колыбельный», всё равно «маме его не спится».

Его уже давно «не страшило безмолвие ночи». Ночью ему «работалось и легко, и споро» и всё радовало:

...живой огонь свечи.

И мягкое дыхание печи.

И даже то, что ночь пройдет нескоро...

Ночью, когда «вокруг рабочего стола смыкалась предательская мгла», он пытался заглянуть «в её ниши из тупиков и сутолоки дня». У него не было «полуночных страхов». Он не верил «предрассудкам и обманам» и в то, «что ночи суть угрюма и черна». Наоборот, для него «ночная тишина была целительна» и в ней было «так привольно его воображенью». Он любил слушать «бессонной ночи жалобный язык». Он хотел понять, «о чем в ночи бормочет старый сад». Он наблюдал за таинством перехода «в ночь длинного зимнего вечера». Он знал, что рано или поздно «короткая, как поцелуй, ночь с её рассветной мукой отступит от окон и растает, словно дым». И потому он сам, и всё, что было вокруг него, «спешило, пока не рассветло, пожить жизнью тайной».

По ночам, когда он не спал, то «начинал мечтать». Уж не знаю, о чем он мечтал, «имея до рассвета час в запасе», но, думаю, мечтал он о том, чтоб «хватило души согреть целый мир». А еще я думаю, он мечтал о том, чтоб «душа его - не вечная, спокойная, простая - умерла вместе с ним, но не раньше».

Он «любил ночной порой не зажигать огня», чтобы почувствовать, как «ветер незримо вдыхает свою душу в людей», вдыхает точно так, «как в дерева, как в

облака». Так же, «как облако в облако входит», так и людские «души сливаются». Ему не было одиноко среди пустынной ночи.

Он сидел у «распахнутого окна», и на «полночный огонёк его свечи» время от времени заглядывали «человек или мотылёк». Он «улавливал ночами курить махорку, что злее полыни», но курил, потому что на «огонь сигаретки слетались вечерние мысли» и ночные.

С поздним гостем поэт ждал, пока «ночь не выпустит луну над гололедной стороной», чтобы свет её «окатил путь, уводящий от крыльца», а с мотыльком, прилетевшим на свет в распахнутом окошке, следил «воспаленными от бессонницы глазами», как над землей «понемногу светлеют чистые небеса».

Да, удивительный жил на земле нашей и рядом с нами человек и поэт! Самому себе он виделся примерно таким: «Какой я хмурый и большой, с какой доброю душой». Таким он в жизни и был - скромным, бесхитростным, с душой нараспашку. Он не терпел лжи и не прощал предательства. Он любил жизнь и писал о ней с искренней любовью и неподдельной тревогой.

И прав Василий Оботуров, когда в статье о творчестве Сергея Чухина написал, что поэт «жил в стихе разнообразием настроений, вызванных самыми обычными событиями и явлениями жизни, - какой-то исключительный повод, чтоб начались стихи, ему был не нужен. Женщины беседуют у колодца, костерок в лесу на поляне, муравей с былинкой тащится, или запутался в луговой отаве кузнечик с покалеченной ногой, мудрая старая книга, неожиданное письмо друга или нежное чувство к девушке, - всё вызывало искренний лирический отклик поэта».

Он писал так, как чувствовал, писал честно и совестливо. Так завещал писать и поэтам, идущим вослед:

Работай, друг мой,

Душою чист,

Один проходи

Науку,

По правую руку -

Бумаги лист,

И сердце -

По левую руку...